

**ЗВЕЗДА**  
*Востока*

---

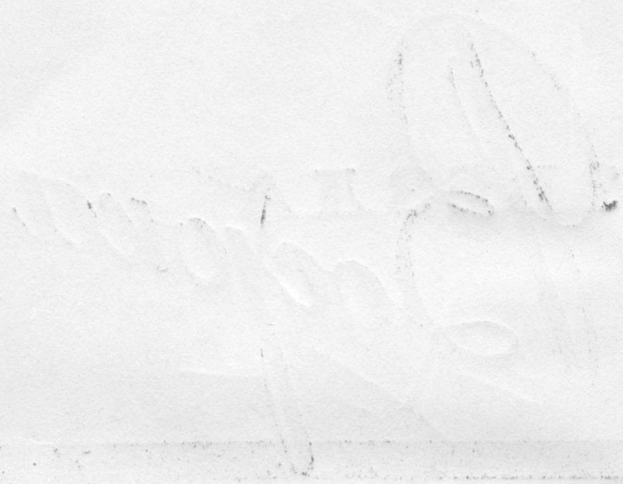
**12**

3

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

---

ТАШКЕНТ • 1947



SI

# ЗВЕЗДА Востока

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О -  
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -  
П О Л И Т И Ч Е С К И Й  
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА

СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

№ 12 Объединенное изд-во „Правда Востока“ и „Кзыл Узбекистан“ 1947



А. КАХХАР

## „ДВА ЧИНАРА“

Р о м а н

Продолжение<sup>1</sup>

У ВСЕХ, КТО НА ОДНОМ КОРАБЛЕ, И СУДЬБА ОДНА

Подобно тому, как человек, повредив себе что-нибудь при неожиданном падении, не сразу, а только много позже начинает ощущать боль, Сыдык-джан весь ужас происшедшего осознал только тогда, когда забрался под одеяло. Ему казалось, что теперь во всем кишлаке только и разговора, что об этом событии: одни смеются, другие огорчаются, одни обвиняют Канизяк, другие Шарафат, третьи же уверяют, что мол „вся причина в самом йигите“<sup>2</sup>. Перед его глазами вдруг встала Зиеда-хан. Что скажет ей Шарафат? Может быть другой кто и не поверил бы ее словам, а Зиеда-хан обязательно поверит. Не могла же она забыть того, что произошло весной под балхским тутом, по дороге на плотину.

Но больше всего Сыдык-джану было тяжело перед тетушкой Авзират, которой приходилось сейчас беспокоиться из-за его ребенка, и перед Канизяк, которая вынуждена была скрываться где-то в чужом доме. Что думает обо всем этом старушка? Что она скажет завтра? А Канизяк? Ведь и без этого „на безмужнюю женщину и бухарские собаки лают“, а что скажут о ней люди теперь?

<sup>1</sup> См. „Звезда Востока“ № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11.

<sup>2</sup> Йигит — парень, молодой человек.

Сыдык-джан повернулся на бок и приподнялся на локоть.

„Ведь там, в тугае, все уже было будто кончено, зачем же я привел эту злосчастную сюда? Зачем это было нужно? Ведь уже от того, что она знала имя Канизяк, от ее усмешки пахло скандалом, почему же я не шепнул Канизяк на ухо — „мол, дело обстоит так и так, поостерегись!“ А ко всему этому и Канизяк оказалась слабой: „Докажи!“... — сказала бы и за ворот бы ее; накричала бы, в волосы вцепилась!“

Ребенок, лежавший под боком у тетушки Анзират, вдруг резко закричал, Сыдык-джан вскочил и метнулся к дому. „Не иначе, как скорпион укусил!“ — промелькнуло у него в голове. Но пока он добежал, тетушка Анзират уже проснулась и, взяв ребенка на руки, начала его убаюкивать:

— Нет, нет, мой маленький!... Ничего нет... Бедненький, во сне напугался, напугался во сне бедненький... Алло-алла... алло-алла!..

Ребенок тут же умолк. Не зная, что ему делать, Сыдык-джан постоял немного за спиной тетушки Анзират, затем сказал:

— Тетушка, давайте мне его, он не даст вам уснуть...

— Старуха обернулась.

— Вай, что ты тут делаешь, сынок? — воскликнула она — Иди, спи, тебе завтра с рассветом на работу выходить! Что я, первый раз ребят вижу? Он напугался бедный, а когда ребенок напугается, так всегда бывает. Безжалостные, как можно так пугать ребенка! А ты от его крика проснулся?

— Нет, я не спал... Завтра она, наверное, заберет его. Как ни как она мать, должна же быть у ней в сердце материнская любовь.

— Заберет, так заберет, а не заберет, ты об этом не беспокойся, сынок. Если аллах пошлет ему здоровья, они с Хашим-джаном как родные братья будут расти.

Хотя Сыдык-джан и понимал, что старушка сейчас ничего другого не могла сказать, от ее слов в сердце ему нахнуло теплом; где-то в груди всколыхнулось что-то, подватило к горлу, на глазах его показались слезы.

— Да пошлет вам аллах всякого добра, — чуть слышно проговорил он.

— Жена у тебя, вон какая приткая характером, и лучше, что она не взяла его. Молодая и такая злая, а? Хорошо еще, что Зиедахан подоспела, а то бы она здесь все вверх дном перевернула. Я думала, — она в Зиедахан начнет бить, — нет, слава богу, не ударила. Ведь та о двух душах, в беде бы оказались мы перед ее мужем. Он же ее очень любит... Бедняжка, сколько ждала ребенка, и вот только-только понесла. Прошлую зиму она и у доктора в районе бывала... Канизяк уже не было, когда она пришла? У меня из памяти все выскочило...

— Да, она явилась уже после того, как Канизяк ушла со двора.

Сыдык-джан помолчал. Немного погодя он поднял на старушку нерешительный взгляд!

— Тетушка, а ведь нехорошо, что Канизяк будет почевать у Маруси: кто не знает, скажет, — она виновата. Хорошо бы на рассвете привести ее, чтобы она отсюда пошла на работу. Я хочу сказать — кто знает, пусть знает, а кто не знает, и знать не будет... Можно бы и мне сходить, да разговоры лишние будут... К тому же мне сейчас и говорить с ней неловко, она, наверно, в обиде на меня... Потом, конечно, я постараюсь загладить...

Тетушка Анзират ответила не сразу. Подумав, она сказала:

— Будет, пожалуй, лучше, если Канизяк придет после того, как жена твоя уедет, сынок.

Сыдык-джан, хоть ему и в голову не приходило, что Канизяк может не вернуться, после этих слов тетушки Анзират почувствовал облегчение, будто с самым неприятным из последствий сегодняшнего скандала было покончено.

— Ваша правда, тетушка, — сказал он тихо и, вернувшись на суну, растаялся на постели.

В самом деле, ему теперь казалось, что все другие последствия совершившегося минуют как то сами собой, а может быть даже и мимолетно уже. Тетушка Анзират на меня не обижается, — думал он — Да и за что ей на меня обижаться? Она сама видит и понимает. К тому же она стала для меня все равно, что родная мать. Ребенка, конечно, Ш рафит завтра забереет. Не может не забрать — воробей лишится своего птенца и то сколько кричит! Конечно, перед уходом она снова стада т шучеть. Скажет, мол, на содержание выдавай мне. Даже, если я сразу соглашусь и отдаю все, что есть у меня, все равно будет шучеть. И очень хорошо, пусть шумит!

Перед его глазами встала картина скандала: Шарафа — бледная, с налитыми кровью глазами, с посиневшими от злости губами кричит, что придет на язык, порывлется кого-то бить, царапает кому то лицо, всех мужчин бесстыжими, всех женщин потаскухами обзывает. Собрался народ. Кто-то пытается упокоить ее. Одни смеются, другие укоризненно качают головами... Тут, будто, подошла Зиеда-хан и тихо ему: „Сыдык-джан, — говорит, — сдерживайте себя. Люди все видят, все понимают. Такой скандальной, такой бесстыжей женщины я в жизни не видела“. В это время, будто, вмешалась Канизяк и говорит: „Вэй, Сыдык-джан ака, как вы только и жили с такой женой десять лет!“

Сыдык-джану казалось, что он чуть вздремнул, а открыл глаза — уже давно рассвело. Он вскочил и, даже не умывшись, пошел в поле.

Все давно были на работе. Закир-ата, натравливающийся к себе, чтобы опорожнить фаргук, встретил его хмурым взглядом. Сыдык-джан, словно желал показать, что спешит наверстать упущенное, сразу же прошел на грядку и только принявшись торопливо собирать хлопок, оглянулся вокруг, рыскавая глазами Канизяк. Молодой женщины на поле не было. На обратном пути Закир-ата, все так же хмурясь, мимоходом спросил у него: „А где же Канизяк?“ Сыдык-джан из этого понял, что Канизяк на работу не вы-

ходила и что из находящихся на поле никто не знает о вчерашнем происшествии, и поэтому коротко обронил: „Придет еще“. Он забеспокоился, не случилось ли чего с Канизяк, не поврежден ли у ней глаз, но в то же время был даже рад ее отсутствию, так как с минуты на минуту ожидал, что появится Шарафат и снова поднимется скандал.

Когда ударили на завтрак, Закир-ата, взяв сумку с хлебом, по обыкновению прошел к своему приятелю в соседнее звено. После отбоя он возвратился, что-то оормоча себе под нос и кого-то браня. Сыдык-джан напугался: „Узнал уже! Узнал, почему Канизяк не вышла на работу! Кого это он ругает—меня или Шарафат? Видно меня! Сейчас подойдет и поднимет шум. Что ему сказать, как объяснить? Станет ли он слушать меня?“

Закир-ата сунул сумку с хлебом между ветвей тута, затем, обвязываясь фартуком, обернулся к Сыдык-джану, хотел что-то сказать, даже два раза раскрывал рот, но так ничего и не сказал. Хотя по выражению его лица никак нельзя было подумать, что старик станет сейчас шуметь или скажет что-нибудь резкое, Сыдык-джан, словно спешил предупредить его, — мол, „атаджан, что хотите делайте, только не поднимайте шума!“ — подбежал к нему.

— Ты Канизяк после этого видал? Как, глаз та ей не повредила?

Во взгляде Закира-ата было столько сочувствия и спрашивал он так неожиданно ласково, что Сыдык-джан сначала даже не понял вопроса.

— Ляббай?<sup>1</sup>—недоуменно проговорил он и только потом уже, догадавшись, о чем спрашивал старик, ответил:

— Ничего, все благополучно... Только лицо... немного поцарапала...

— Ну, что случилось, то случилось. Ты и рта об этом ни перед кем не раскрывай. Пусть все будет шито-крыто... Так значит ты, сынок, знал, почему бежал от этой злосчастной. Знал, значит. Если она с ребенком, со своим собственным ребенком так поступила, то что может еще ожидать от нее человек? Ладно, и лучше, что она его бросила. Если мать решилась бросить родное дитя, то ее все равно что и нет вовсе! Не так ли?

— Она, пока не видала, как я живу, и „милый“ и „хороший мой“—лебезила вокруг меня, а увидала—и, что чирый, прорвалась. Теперь хочет заугать, ребенка брошу, мол.

— Так она же бросила уже, чего еще там!

— Нет, она еще не ушла. Вечером Зиеда-хан апа увела ее к себе...

— Ийе! Так ты еще не знаешь? Жена твоя еще на рассвете отправилась. Балта-бай проводил ее. Насчет ребенка столько ей говорили, три-четыре человека уговаривали, — не соглашалась. Только, будто, и знает, что щенком обзывает его. Астафирулла!<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ляббай—что изволите.

<sup>2</sup> Астафирулла—буквально—„боже мой“, Возглас, выражающий возмущение.

Свое дитя, свое рожденное дитя щенком обзывает, а! И о чем она только думает!..

Закир-ата выругался и, резко повернувшись, направился к своей грядке. Сыдык-джан, как стоял, так и остался на месте, растерянный. Перед его глазами встал наплакавшийся до хрипоты сыннишка, всхлипывающий в одном из углов хибарки, и измучившаяся с ним, то и дело выглядывающая на улицу тетушка Анзират. Эта картина не оставляла его в покое до самого вечера. Размышляя в течение дня, Сыдык-джан решил наконец отвезти сына в Отдельный Хутор, чтобы сдать его на руки матери и, пользуясь предложением, побыть там два-три дня, пока здесь не уляжется пыль после скандала. После работы он сразу же отправился к Урман-джану. Ему казалось, что Урман-джан, будучи уже обо всем осведомленным, найдет его решение правильным и окажет ему нужное содействие.

Урман-джан сидел под навесом и дружно беседовал с каким-то молодым, по виду городским, парнем. Парень, пожимая протянутую Сыдык-джаном руку, назвал себя: „Агроном Ибрагимов“. Сыдык-джан не знал в точности, чем занимаются агрономы, но само слово „агроном“ почему-то ассоциировалось в его сознании с образом жизнерадостного русского старичка, кое-как объясняющегося на домашнем узбекском языке, и поэтому он, вряд ли удивленный, раза два недоверчиво взглянул на парня, прежде чем присесть на предложенный Урман-джаном табурет. Урман-джан пододвинул к нему дыню и нож, задал два-три вопроса о работе звена и затем, словно хотел сказать: „Уши мои обращены к вам“, — обернулся к Ибрагимову. Ибрагимов продолжил прерванный разговор.

— Какие же могут быть у меня требования, Урман-джан-ака? — сказал он, принимая от Сыдык-джана протянутый на кончике ножа ломоть дыни. — Учился я на народные деньги, на ваши деньги, и прибыл я сюда не за тем, чтобы нажить что-нибудь. Если бы у меня было такое намерение, я в „Два Чинара“ не приехал бы. В райисполкоме мне рассказали о положении в вашем колхозе.

— Баракалля<sup>1</sup>, братец, спасибо! — воскликнул Урман-джан. — Тысяча спасибо вам! Тому, кто думает о народе, народ всегда платит тем же. Дерево, говорит, земля возвышает, а человека народ возвышает.

— Цель моя, Урман-джан-ака, послужить вам, сколько будет моих сил, сколько хватит моих знаний, проверить на деле то, чему я учился, и набраться опыта. После этого я снова поеду в Ташкент и снова буду учиться. В Ташкенте есть много больших ученых, сведущих в науке о хлопке, вот я и намерен позаимствовать от их знаний. Об этом я говорил товарищу Ахмедову, и он остался доволен. Для колхозных кишлаков сейчас требуется много знающих агрономов... Во сколько, например, трудодней обходится вам один центнер хлопка?

Урман-джан, — он видно никогда не подсчитывал этого, — смутился и покраснел, затем, улыбаясь, сказал:

<sup>1</sup> Баракалля — возглас, выражающий похвалу, одобрение.

— Сил много уходит, но все-таки, из всех посевов нет доходнее хлопка.

— Зная, хлопок самый доходный...

— Но требует труда.

— Да, требует труда. В этом все дело. Товарищ Ахмедов говорил, что в колхозе „Дружба“ в прошлом году каждый центнер хлопка обошелся в двенадцать трудовых. Двенадцать трудовых! А что было бы, если бы в колхозе центнер хлопка обошелся в один трудовой?

Ибрагимов взглянул на Сыдык-джана. Продолжая ловко разрезать дыню, Сыдык-джан улыбнулся.

— Тогда у людей и черепки для собак из золота были бы!

— Да, были бы из золота. А иначе зачем же вам было вступать в колхоз? Какая была бы польза от колхоза, если бы у колхозника ничего не оставалось сверх того, что нужно, чтобы наполнить желудок и прикрыть свое тело? Все дело в том и есть, что в колхозе центнер хлопка можно получить за один трудовой. И не только можно, — партия и правительство намерены добиться этого и уже добиваются! Сталинградские тракторы, чирчикские культурные удобрения, миллионы рублей, расходуемые на науку, — все это ради того, чтобы вместо двенадцати трудовых затрачивать один. Ради этого и я еще учиться хочу. В колхозные кишлаки агрономов, знающих агрономов, будет требоваться все больше и больше.

Урман-джан заверил Ибрагимова, что постарается создать ему все условия для работы, для накопления опыта, а после и для учебы; затем он привался рассказывать о прошлом кишлака Капсанчей и колхоза „Два Чинара“, о том, что сделано колхозом за последние два года, о внимании, какое уделяют ему районные руководители, особенно Ахмедов, о глубокой уверенности колхозников в своем будущем, о том, как они относятся к труду, и, наконец, каким он представляет себе кишлак Капсанчей через пять лет.

По мере того, как Урман-джан рассказывал о трудностях, какие пришлось пережить людям, о том тяжелом труде, как и пришлось им вынести, о результатах, каких они добились, о будущем кишлака, о его домиках, улицах, садах, — горе, с каким Сыдык-джан шел сюда и которое весь свет делало для него немилым, теперь представлялось ему маленьким, быстро преходящим неудовольствием. Слушая Урман-джана, он в каком-то уголке своего сознания тут же порешил со всеми последствиями вчерашнего события: людям „Двух Чинаров“ нет дела до сплетен и пересудов, они ко всему относятся разумно; Шарфат никого здесь не опозорила, кроме как только себя. Это понимают и Кавказик и тетюшка Анырат; сваньшка пока будет жить в Отдельном Хуторе.

Ибрагимов, чтобы размять ноги, поднялся и пошел к выходу. Перед навесом чернели густые заросли камыша, дальше белела полоса реки. Посредине реки слабо мерцал одинокий огонек.

После короткого молчания Урман-джан, глубоко вздохнув, положил руку на плечо Сыдык-джана.



— Вот такие дела. Сыдык-джан. Такие дела. Надо добиваться чтобы вместо девятнадцати затрачивать один. Да, один! — повторил он и неожиданно спросил: — Ты просил прощения у Канизяк?

Застыгнутый врасплох, Сыдык-джан поднял на председателя растерянный взгляд.

— Нет..

— Напрасно. Надо было. Она в обиде на тебя и даже возвращаться к тетушке Анзират не хочет. Собирается остаться в землянке Андрей, если тот с семьей переберется на МТС.

У Сыдык-джана опустились руки.

— Вон как!.. Ес и Андрей перекочет, может мне лучше туда перебраться? А Канизяк пусть остается у тетушки Анзират. Она молодая, одинокая...

— Нет, Канизяк вернется. А та землянка никому из вас не достанется. Ее мы передадим вот товарищу Ибрагимову. Канизяк вернется завтра. До этого тебе надо попросить у нее прощения. Сердце у женщины мягкое, если мужчина попросит прощения, от любой обиды и следа не останется.

— Как бы обо всем этом слава не пошла, Урман-джан-ака!

— Слава и так уже пошла. Но люди, особенно женщины, винят во всем твою жену. То, что она бросила ребенка, у всех вызвало гнев. Зиеда хан тоже, наверное, рассорилась с ней, потому что и провозжать не вышла.

Сыдык-джан повеселел.

— Я хотел было отвезти сынишку в Отдельный Хутор, Урман-джан-ака...

— К матери? — Урман-джан рассмеялся. — Ты будто изнеженная девочка — чуть что, сейчас же о матери вспоминаешь. Жар появилась — нужно к матери, в Отдельный Хутор, ж на ребенка бросила — тоже. Кто после этого скажет, что ты вырос в нужде? С матери твоей хватит и того, что она пережила, оставшись после отца с двумя сиротами. Десять лет о матери не думал, а теперь когда понадобилось присмотреть за ребенком, о матери, об Отдельном Хуторе вспомнил? Надо было помогать ей, когда была возможность, а теперь, если помочь ничем не можешь, так хоть не тревожь ее, пусть живет, как живет.

— Что же мне делать в таком случае? Поручить ребенка тетушке Анзират тоже нехорошо... Мне очень неловко перед ней.

— А зачем поручать его тетушке Анзират? У ней свои дела есть. Отдашь в детский сад. Я уже наказал Марусе. Завтра же и отдавай. Каждый день, идя на работу, будешь его отводить, а на обратном пути забирать. Сделаешь так, и никому, кроме тебя, не будет никакого беспокойства.

Сыдык-джан, по обыкновению, вышел от Урман-джана повеселенным и уверенным в своих силах. Первым делом он забегнул к Андрею, чтобы повидать Канизяк. Дверь землянки оказалась открытой, изнутри время от времени слышался женский смех. Сыдык-джан обошел землянку и заглянул в окно. Канизяк сидела боком к лампе и держала обеими руками моток пряжи. Маруса сматывала

пряжу в клубок. Еще какая-то женщина заплетала косы Канизяк и с увлечением рассказывала что-то. Присмотревшись как следует, Сыдык-джан узнал в этой женщине круглолицую молодку — сдвух их тех, что приодили к Урман-джану с жалобой против назначения Канизяк звеньевой. „Ну, если эта пришла проведать, значит, все знают, что Канизяк ни в чем не виновата“, — подумал Сыдык-джан и, не считая подходящим показываться сейчас в землянке, отправился домой.

Ребенок уже уснул. Тетушка Анзират пожурила Сыдык-джана за опоздание, затем принялась рассказывать о проделках мальчика за день, о том, что он и как говорил. На лице ее не было и признака недовольства, наоборот, она была даже веселей обычного.

— А ведь та злосчастная ушла, — сказал Сыдык-джан, принимая из рук старушки завернутый в скатерть ужин.

— Да, я уже слышала об этом, сынок.

— От кого же вы слышали?

— Ходила проведать Канизяк, а там была Зиеда-хан.

— Канизяк, будто, в большой обиде на меня?

— Да, была в обиде и возвращаться не хотела. Зиеде-хан пришлось даже побранить ее.

— А сейчас как, уже не обижается?

— Не знаю. Все время смеется. Здорово мы там посмеялись. И в самом деле, чужие дела были у нас, сынок.

— Когда же она придет?

— Хотела прийти, не знаю... Стыжусь, говорит. Теперь уже, наверное, придет завтра, когда ты на работу уйдешь. Да, про сынишку твоего спрашивала, не плачет ли? У меня на душе так радостно стало. Пошли ей аллах долгой жизни, хорошая она молодка, бесценная молодка!

Сыдык-джан рассказал тетушке Анзират о своих первоначальных намерениях насчет сына и о совете, какой был дан ему Урман-джаном. Старушка, находя совет председателя правильным, рассказала, как проходит у ребят в саду время, как за ними ухаживает Маруся. Выслушав ее, Сыдык-джан успокоился, настолько успокоился, что ему хотелось теперь смеяться над своими прежними страхами и над тревогой, какую он испытывал за сына в течение всего дня. Однако наутро, когда тетушка Анзират стала одевать ребенка и тот раскапризничался, призывая мать, настроение его снова испортилось. Ему казалось, что сынишка всю жизнь будет вот так плакать, разыскивая мать, а его собственная жизнь пройдет вот в таком одиночестве и бесконечных скитаниях.

Когда он с ребенком на руках прошел улицу и завернул за угол возле красной чайханы, впереди показалась Канизяк. Щеки ее покрывал повязанный под подбородком синий платок, подмышкой белел узелок; шла она быстро, низко опустив голову. Сыдык-джан остановился и, когда молодая женщина приблизилась, тихо окликнул:

— Канизяк!

Канизяк вскинула голову, остановилась и снова потупила взор.

— Канизьяк-хап, если чем... Сами вы видели... и все знают... Что я могу сказать вам... Я бедный, одинокий странник... нашег приют...

Голос Сыдык-джана задрожал. Канизьяк чуть приподняла опущенные веки: в синем свете раннего утра лицо Сыдык-джана показалось ей бледным, осунувшимся, глаза ввалившимися. На руках у него, прижимаясь головкой к его плечу, горько всхлипывал ребенок. Канизьяк не думала, что так скоро заговорит с Сыдык-джаном, но вид его, его дрогнувший голос и печальное „я бедный, одинокий странник“ смягчили ее сердце.

— Вы куда его несете? — спросила она.

— В детский сад...

— А доктору показывали?

— Нет.

— Прежде надо, чтобы доктор осмотрел. Без бумаги от доктора там не примут. — Канизьяк смутилась, шагнула, направляясь дальше, и тихо добавила: — А доктор, говорят, приедет только в среду...

Сыдык-джан долго провожал ее взглядом. Когда Канизьяк скрылась за чайханой, он с минуту постоял в раздумьи, затем ласково посмотрел на притихшего сынишку и тоже повернул по своему прежнему следу.

В среду Сыдык-джан выехал на хлопковый пункт и ребенка в доктору пришлось нести Канизьяк. Перед тем, как выйти на улицу, она обернулась к тетушке Анзират и улыбнулась:

— Тетушка, а что скажут люди, когда увидят...

Тетушка Анзират рассмеялась.

— Что же они могут сказать, доченька. Не тебе, так мне пришлось бы нести. Мы же в колхозе. А у всех, кто на одном корабле, и судьба одна, говорят.

## О Г Н И

МТС, которую обслуживала красная чайхана Курбана-ата, все лето отстраивалась: на ее территории ремонтировались старые и возводились новые здания, ставились всякого рода навесы. Для работы по строительству и в самой МТС сюда с разных сторон понаехало много всякого люда. Большинство прибывающих, пока они не становились на работу и не находили себе постоянного пристанища, располагались обычно у Курбана-ата, да и после этого по утрам и вечерами приходили сюда кто с чем — понить чаю, побеседовать. Целое лето, поэтому, в чайхане былолюдно и шумно: Курбану-ата приходилось работать не покладая рук. Старик два раза подавал директору МТС заявление с просьбой дать ему помощника; тот в конце концов выделил было на это дело одного крепкого, проворного парня, но парень, не проработав и месяца, отправился учиться тракторному делу. Таким образом, Курбан-ата, как сходил в кишлак Капсанчей на поклон могиле матери в дни ирайских праздников, так за все лето больше и не удосужился побывать там.

Осень в этом году выдалась на редкость погожая, и чайхана Курбана ата была закрыта только в конце октября. Ее должны были разместить в новом зимнем помещении с тем, чтобы приурочить открытие к октябрьским праздникам, но с внутренней отделкой помещения, однако, задержались, и открытие чайханы было отложено. Курбан-ата решил воспользоваться этим и в дни праздника, наконец, собрался навеститься на могилу матери.

Приездив на могилу, Курбан-ата обычно опускался на колени, прочитывал три раза поминальную молитву и на том успокаивался; он был вполне уверен, что душа матери — этот невидимый глазу человек-образный клубок белого прозрачного тумана — став после его трехкратной молитвы совсем легкой, некоторое время, что бабочка, покружится вокруг могилы и затем, довольная и радостная, поднимется к небу. На этот раз, потому, вероятно, что он не был на могиле целое лето, Курбану-ата показалось, что одной поминальной молитвы и дела не порешить. Старик ясно представил себе, как изголодавшаяся без молитвы, отошавшая душа, не имея сил летать, тяжело осела жидким желтоватым дымом на самое дно могилы, плотно окутывая тело покойницы, и он, не раздумывая долго, решил пригласить своего знакомого Гияс-эддина Махсума, чтобы тот хорошенько прочитал на могиле коран.

Мулла Гияс-эддин Махсум происходил из духовенства кишлака. Пять козлов и года за два до этого исполнял обязанности суффи<sup>1</sup> при Карагачевой мечети. Когда умер имам этой мечети, он вознамерился было занять его место, но тут приехал другой имам со стороны, и планы его оказались нарушенными. Чтобы добиться своего, Махсум всяческими путями старался очернить нового имама перед верующими, выставить его никудышным: и во время проповеди, и в притворе во время бесед он часто заговаривал с ним споры, задавал ему всякие каверзные вопросы, но в конце концов сам же оказался в проигрыше. В один из дней, после вечерней молитвы, когда молящиеся вместе с причтом, усевшись в кружок, вели беседу на религиозные темы, Махсум спросил имама: „Скажите, таксыр<sup>2</sup> у Адама пупок был или не было пупка? Если пупок у него был, то кто его обрезал ему, а если нет, то почему пупок есть у нас?“ Кто-то из прихожан фыркнул. Махсум же вытянул длинную, тонкую шею и торжествующе поглядел на всех круглыми совиными глазами — что, мол, удивил! Вместо ответа имам поднял низко опущенную голову, посмотрел на Махсума, на фыркнувшего прихожанина, снова на Махсума и, отмахиваясь длинными рукавами халата, выкрикнул: „Кяфыр! Кяфыр!“ С этого дня они начали топить и грызть друг друга уже открыто. Под конец имам все же осилил. Махсум был вынужден уступить свое место другому. После этого он перешел на обслуживающие, главным образом, мертвецов и только время от времени служил живым тем, что гадал и читал всякого рода заговоры.

<sup>1</sup> Суффи — муэдзин.

<sup>2</sup> Таксыр — господин.

Курбан-ата познакомился с Махсумом, примерно, с год назад, когда вдумал погадать насчет пронавшей без вести племянницы. После этого между ними установилась постоянная связь; Махсум время от времени стал захаживать в чайхану. Как и Курбан-ата, Махсум был одинок: жена его умерла лет тринадцать назад, а единственного сына своего он проклял. Сын его, будучи и подростком, как и полагалось наследнику духовного лица, обучаясь в кишлачной школе светским наукам, в то же время дома изучал науку духовную. По окончании кишлачной школы он вместе с двумя-тремя сверстниками пожелал отправиться на учебу в город. Махсуму это не очень нравилось, но он, считаясь с новыми временами, перечить не стал. На следующий год во время каникул сын приехал домой с целой охапкой книг. Когда Махсум стал перелистывать одну из них, самую толстую, взгляд его упал на изображение свиньи с обвислым, что кожаный бурдюк, животом и хвостом, опускавшимся в виде завитка. Под картинкой была надпись: „Простая свинья“. Гияс-эддин Махсум очень огорчился: столько надежд питал он на сына, растил его, учил... Мальчик знал коран до самой таборак<sup>1</sup> и вдруг станет твердить: „Простая свинья!“. Махсум взял и сжег книгу. Это и явилось первой причиной разлада между сыном и отцом. Вторично причиной раздора послужила попытка Махсума во время следующих каникул женить сына. Вопреки желанию отца, сын заявил, что женится не раньше, чем окончит школу, и твердо стоял на своем. Махсум, крепко обругав сына, ударил его кашпешем по шее. Сын разобиделся, уехал и два года не показывался, а на третий приехал вместе с беременной женой. Жена оказалась красивой, расторопной и добродушной татаркой. Махсум даже обрадовался, что обзавелся, наконец, невесткой, но на второй же день, подметив за ней грех, сделал ей замечание: „Дочь моя, — сказал он, — ты не клянись аллахом в дело и без дела, в частых клятвах нет надобности“. На третий день невестка подметила грех за ним самим. Когда Махсум, выпив чашку чая, перед тем, как протянуть визу невестке, вытер ее о плечо, та сказала: „Разве нельзя было вытереть о полотенце?“ Махсум был этим сильно разобужен. „А, что, рубаха моя нечистая, что ли, я в ней намаз совершаю!“ — буркнул он, встал и вышел. На четвертый день Махсум, отиравляясь на молитву, мимоходом заглянул в комнату сына; тот стоял перед женой на коленях и одевал ей ботинки, а жена безо всякого стеснения протянула ему ногу и, будто ни в чем не бывало, сидит себе, ест яблоко. Махсум, кое-как дождавшись окончания молитвы, поспешил домой. Отозва сына в сторонку, он сказал ему: „Сын мой, жена твоя не из Герата родом, не ты ей должен ботинки одевать, а она тебе! Что ж, что она беременная, не сама же она стала такой! Ты ведь ее сделал! Да и как бы там ни было, ты не должен склонять перед ней свою бесценную голову и терять свое мужское достоинство!“ Отец с сыном никак не мог-

<sup>1</sup> Таборак — название главы корабля.

ди стовориться. Разгорелся скандал; пришлось выступить посрединками соседям и родне, но это мало помогло делу: в конце концов муж с женой взяли свой чемодан и ушли из дома. Махсум всачески поносил невестку, которая сошла с пути такого способного юношу, а от сына, уступившего повода жене, отрекся и со слезами на глазах произнес страшную клятву: „Лица твоего до судебного дня не видеть мне!“ С тех пор они не появлялись. Сын устроился зоотехником в одном из животноводческих совхозов и напоминал о себе только тем, что каждый месяц присылал отцу небольшую сумму денег. Гияс-эддин Махсум даже руками не при-трагивался к этим деньгам, но — не пропадать же было добру — расходовать их все же расходовал. Деньги оставались на руках у кишлачного почтальона Рахматуллы, Махсум же купит что-нибудь и отошлет продавца к почтальону: „Получите с Рахматуллы“. Бывали случаи, что и сам он заимствовал из них пять-десять рублей, но это делалось всегда под видом займа.

На предложенные Курбан-ата Махсум согласился с большой охотой, так как давно уже не отлучался из Пяти козлов и имел большое желание прогуляться куда-нибудь, рассеяться.

В дорогу они вышли в четверг вечером. Курбан-ата намеревался посетить могилу матери в этот же день, то есть именно под пятницу, ночь провести у Урмаи-джана, наутро, после праздничной молитвы, еще раз почитать коран и, таким образом, как следует удовлетворив душу матери, в пятницу засветло вернуться в МТС.

Махсум порадовал душу покойницы даже больше, чем мог рассчитывать Курбан-ата: вечером того же дня и на второй день в пятницу он, то повышая, то понижая голос, то мяуча, то гундоса себе под нос, так долго и так старательно читал коран, что Курбану-ата казалось, будто к небу вознеслась не только душа его матери, но и души отощавших без молитвы других забытых покойников. Когда Махсум тянул „Саба-а самовотун тибоко“, у Курбана-ата у самого про егал по телу священный трепет.

Под вечер, когда гости собрались домой, Урмаи-джан предложил им: „Завтра у нас открытие канала, на плотине будет большое гулянье, оставайтесь с нами праздновать“ и пообещал отправить их к месту гуляния на автомашине, которая должна была прибыть по его просьбе из района, чтобы доставить к плотине колхозных стариков. Так как это предложение очень пришлось по праву Махсуму, а Курбану-ата хотелось повидать Сыдык-джана, уехавшего на плотину, то старики согласились.

Торжество открытия канала было намечено на четыре часа полудня в первый день праздника. Улочки и закоулки Низины куги, с угра безмолвные и безлюдные, словно двор, опустевший после откочевки хояв, с полдня начали оживляться. Между камышовыми и глиняными дувалами, окружавшими землянки, а затем на площади и по холмам начали появляться люди. Молодые, собираясь на гулянье, спешили, перекликались между собой, ребята сновала между взрослыми или собирались стайками и, надувая щеки,

соревновались в игре на камышовых сопелках; группа стариков, расположившись на солнцепеке у выхода с площади, поджидала автомобиль. Скоро началось движение по тропинкам и проселочным дорогам. Когда Курбан-ата и Махсум выбрались на площадь, со стороны Лягушинского заповедника, опередив их, к старикам подъехал на большом белом ишаке Урман-джан. Он подождал гостей, затем объявил всем старикам, что из-за неисправности дороги автомобиль сюда подъехать не сможет и будет ожидать у моста, а чтобы доставить их к мосту, с минуты на минуту должна подойти арба. Часть стариков, не дожидаясь арбы, отправилась пешком. Пока шли разговоры, Махсум обошел ишака, потрепал его по шее, почему-то попробовал согнуть торчавшие, что трубы, уши, затем похлопал по крупу и сказал: „Этой животине только святым служить!“. Урман-джан, догадавшись, что ишак очень понравился Махсуму и что сердце его загорелось желанием проехаться верхом, поспешил вручить поводыя гостю. Махсум подвел ишака к небольшому холмику, вспрыгнул в седло и поманил Курбана-ата. Тот, улыбаясь проворству своего спутника, примостился на крупе осла.

Ишак, несмотря на двойной груз, то шел иноходью, то припускал рысью; длинные ноги Махсума неуклюже болтались, но сам он старался держаться прямо. Чтобы занять приятеля, Курбан-ата по пути принялся рассказывать, что знал и слышал об этих местах. Он показал развалины водокачки и конторы, места, где совершали вечерние прогулки дочери князя и где он, свалившись с коляски, попортил ногу, сад, где князь проводил лето со своими дочерьми и восемнадцатью собаками, сад Абдуваккаса ишана. Оба сада, разделенные высоким холмом при въезде в „Два чинара“, превратились уже в дикие заросли, по которым, казалось, не ступала нога человека. В саду ишана виднелись развалины большого кирпичного здания. И сами развалины, и прогалина вокруг них заросли янтаком, лебедой, полынью и аджарыком<sup>1</sup> берега пересохшего хауза<sup>1</sup>, расположенного с правой стороны развалины, и сам хауз заросли вениками, горчаком, солодовником. Места эти напомнили старикам давно минувшее прошлое. Перед глазами Курбана-ата вдруг встал Фарманкул и другие подобные ему люди, всю жизнь проведшие в горе и муках, и развалины показались ему убежищем дракона, который беспрерывно терзал этих людей, но в конце концов понес заслуженную кару. Махсум же, оглянувшись вокруг, покачал головой: „Ай-ай-ай! Такие прекрасные места — и такое запустение! И все потому, что они в колхоз перешли!“ Слова эти рассердили Курбана-ата, так рассердили, что он, из боязни ответить грубостью, счел за лучшее промолчать. До самого моста он не сказал больше ни слова, на вопросы же Махсума отвечал коротко и отрывисто. Возле моста он соскочил с ишака и, хотя Махсум не собирался продолжать путешествие верхом, с заметным раздражением сказал: „Слезайте, таксыр, если ишак только

<sup>1</sup> Хауз — водоем.

служил святым, то машина сама по себе чудо. Дальше мы поедем на машине".

Грузовую машину, стоявшую по другую сторону нового деревянного моста, перекинутого через канал, окружило не меньше сотни человек — молодых и старых, мужчин и женщин. Над толпой стоял шум и крики. Какая-то женщина умоляла шофера: „Ака-джон, джон-ака<sup>1</sup>, я еще ни разу в жизни не ездила, хоть до Кыкыра подвези!“ Чей-то бас гремел бранью по адресу какого-то Абдухалыка, который мешал ра и ститься старикам. Шофер, стоя в кузове, помогал взираться только тем из мужчин и женщин, у которых была заметна седина в волосах или в бороде.

Люди не успели оглянуться, как машина наполнилась, вдруг загудела, стрельнула раза два, плюнула в стоявших позади синим дымком и покатила. С бортов ее — справа, слева и сзади — посыпались цеплявшиеся подростки. Двух-трех из них, наиболее упорных, сидевшие в кузове уже на ходу втащили за руки. Оставшиеся, перекликаясь в поднятой автомобилем пыли, в конце концов тронулись в дорогу пешком. Машина, быстро катившая по извилистой дороге, через минуту скрылась из глаз.

Старики, не вестившиеся в машину, в ожидании ее возвращения уселись на обочине дороги, старухи же расположились несколько в стороне, на земляной насыпи канала. Махсум, привязывая ишака к перилам моста, задержал я там, разгворившись со случайным встреченным знакомым. Курбан-ата же прошел к старикам и молча опустился на корточки. Старики вели оживленную беседу, рассуждая о том, сколько пиа<sup>2</sup> чая можно выпить, пока машина достигнет плотины, сколько груза может она поднять за один раз, сколько кварталов могли бы осветить ее фары, если бы их поднять повыше.

Движение по дороге стало все более оживленным. С гиканьем и криками, с шутками и со смехом, гоняясь друг за другом, прошла толпа подростков и парней из кишлака „Белая курица“. Вслед за ними проехала запряженная парой волов арба с шумливыми озорными ребятами. Затем показался трактор из „Могильного кургана“ с двумя бричками на прицепе. Брички были до отказа наполнены женщинами: женщины пели песни, смеялись, хлопали в ладоши. Одна, средних лет полная женщина на передней бричке видно была мастерицей танца. Проезжая мимо старух, она опустилась на колени, уперлась руками в бега и сделала несколько выразительных движений плечами; когда же бричка поравнялась со стариками, взметнула над головой изогнутые руки и несколько раз повела бровями. Послышались возгласы одобрения, смех, кто-то из стариков выкрикнул: „Дост<sup>2</sup>, счастья тебе на всю жизнь!“ Из Каусанчей проехала арба с девушками и молодыми

<sup>1</sup> Ака — уважительное — братец, джан — душа; употребляется в смысле родной дорогой

<sup>2</sup> Дост — дословно „друг“, в данном случае возглас, выражающий одобрение танцующему.



женщинами, под аккомпанимент бубна певшими „Яр-яр“<sup>1</sup>. Глядя на них и на бесчисленное множество других — молодых и старых, женщин и мужчин, проезжавших на арбах, запряженных лошадьми, ишаками, олами и проходивших пешком, Курбан ата вспомнил затерявшуюся племянницу: „Сколько ей было тогда? Если она жива-здорова, то сейчас ей, пожалуй, уже двадцать один, двадцать два года. Где она теперь? Вышла ли она за порядочного человека или сиротство определило ей черную долю? Если она пошла в мать и из нее вышла женщина, способная, как та, повести за собой четыре десятка йигитов, то кем она стала теперь, в наше время, когда нет эликзаши, князей, ишанов? Кем была бы сейчас ее мать? А Фарманкул?..“ Перед глазами Курбана ата снова, как живой, встал Фарманкул. Ему казалось, что тот, улыбаясь, идет обочиной дороги вместе со стариками, что отправили в из Низины куги, не дожидаясь ярбы. На голове у него та же черная тибетейка со стертой вышивкой, на плечах тот же яхтак<sup>2</sup>, ноги босы... Курбан-ата, словно Фарманкул и в самом деле мог оказаться среди стариков, вытянув шею, огляделся. В это время над его ухом послышался хриплый шепот Махсума: „Е, Алхазар! Е, свягой Баляуддин! Е, Гафел Агзам! Видали ту, которая на арбе проехала?“ Курбан-ата вздрогнул от неожиданности и так рассердился, что не смог сдержаться себя. „Оставьте их в покое, таксыр! Оставьте в покое, говорю! Пусть они танцуют, смеются, веселятся!“ — почти выкрикнул он и отошел в сторону.

Вслед за стариками, пришедшими пешком, подоспели и те, что оставались в Низине куги в ожидании арбы. Немного погодя возвратилась и автомашина. Развернувшись с хода, она остановилась как вкопанная; туча пыли, неотступно следовавшая за ней, взвужившись в вихре, встнула вверх, затем раздалась вширь. Ожидавшие своей очереди старики, а за ними и толпа проходивших мимо, толкая друг друга, бросились к месту посадки. Снова поднялся шум, начались уговоры, просьбы. Уран-джан, забравшись в кузов, принялся втаскивать за руки и усаживать стариков. Махсум, хватаясь за головы, за плечи, наступая на ноги, пробился вперед, перевалился через борт, уселся поудобнее и затем во весь голос стал звать Курбана ата. Какая-то уже изрядно пожившая на свете старушка твердила своему еще более дряхлому мужу, сидевшему тут же рядом, в кузове: „Не потеряйте меня из вида, когда она поскачет! Не потеряйте меня!“ Когда машина тронулась, все завопили и закричали сразу, но через минуту смолкли. Машина неслась, то замедляя, то снова ускоряя ход, швыряла пассажиров из стороны в сторону на поворотах, подбрасывала их на ухабах, скрипела, скрежещетала, грохотала и непрерывно сигнализала, предупреждая пешеходов, саранчой кишевших по дороге и на обочинах, и арбы, метавшиеся то направо, то налево и тем

<sup>1</sup> Свадебная песня.

<sup>2</sup> Яхтак — летняя халат.

вызывавшие особое неудовольствие шофера. Взрослые провожали машину криками, ребята гнались за ней впергонки, то показываясь, то исчезая в клубах пыли.

Когда позади остались заросли таволожника и ряды песчаных дюн и машина понеслась по обширному лугу, кто-то из стоявших в кузове крикнул: „Вон она, плотина!“. На горизонте в нескольких местах видны были столбы беловатого дыма, поднимавшиеся к глубокому небу и затем медленно-медленно таявшие. Немного погодя вдаль завиднелась белесая полоса реки, вытянувшаяся вдоль желтых, выгоревших за лето адыров, а затем толпы людей, темными заплатами выде явнившиеся на изжелта-серой равнине, на которой, словно бородавки, выступали невысокие холмы, и медленно передвигавшиеся, похожие издали на пауков, арбы.

Машина, наконец, достигла места гулянья и, непрерывно сигналила, стала пробиваться между толпами людей и рядами арб к реке. В плетеных кузовах арб из-под мятых, солодовника, соломы выглядывали бока поздних дынь, арбузов, в открытых мешках, сумках и сумочках, корзинах и корзиночках виднелся урюк, джидда, изюм, орехи, сушеный тут, груши, яблоки, сушеные дыни, фисташки. Гудок автомобиля терялся среди шума и разноголосых выкриков. Где-то неподалеку певуче зазвенел бубен; слева слышались веселые озорные частушки, справа — навевавшая грусть протяжная песня; со всех сторон доносились крики, говор, смех, то и дело слышалось: „Пожалуйста, пожалуйста“, „Купайте, купайте! Кто съест — здоров будет, кто не съест — жалеть будет!“, „О, спасибо твоему родителю!“

Машина, не доезжая берега реки, остановилась у вытянувшихся в ряд пологих, разной высоты холмов. По склонам холмов и на самых вершинах, на разостланных по земле кошмах, паласах, циновках, тесно сгрудившись, сидели люди — участники праздника. Здесь же сновали проворные йигиты, разносившие на огромных подносах горки лепешек, фрукты, сладости, чай.

Прибывших встретили две молодые женщины и один высокий йигит. Старух провела к группе женщин, а стариков — на самую вершину одного из холмов. Здесь уже собралось десятка полтора седобородых. Они располагались небольшими группами — одни опустившись на корточки, другие скрестивши ноги, третьи полулежа — и, любуясь хорошо видимой отсюда панорамой гулянья, оживленно беседовали, обменивались шутками, смеялись. Выбрав свободное место, Махсум примостился возле одной из групп и потянул за полу Курбан-ата. В это время снизу послышался чей-то звонкий голос: — Ассалом алейкум, Курбан-ата! Салом, атахан!

Обернувшись, Курбан ата увидел Сыдык-джана, взбегавшего, словно горный олень, огромными прыжками прямо вверх по склону, и улыбавшегося ему вслед Урман-джана. Урман-джан кивнул Курбану-ата головой: „Смотри, мол, как он обрадовался“, спустился вниз и скрылся в толпе. Сыдык-джан, широко раскинув руки, и в самом деле приближался с таким видом, словно перед ним вдруг оказался воскресший отец. Езбевая на вершину холма, он креп-

го обхватил Курбана-ата, приподнял его, раза два покружил, затем спустил на землю, спросил о здоровье и снова заключил в объятия.

— Баракалла, баракалла, сынок, — получив, наконец, возможность говорить, промолвил Курбан-ата. — А я каждый раз, когда приезжал Урман-джан, спрашивался о тебе. Живет, говорит, доволен... В кишлаке спросил, а ты здесь, оказывается. Живешь — радуешься?

— Все хорошо, атахан, хорошо...

— Ну, как? — Курбан-ата хотел сказать — как, мол, не рассказываешься, что послушался моего совета?

Сыдык-джан понял его именно так и вместо ответа снова крепко обнял, а затем, словно боялся, что тот может разбиться, осторожно уселся рядом с Махсумом. Махсум уже сидел к ним спиной и, уверяя седобородых своих соседей, что человек, коль он приложит к глазам виноград, от аллаха заслужит десять наград\*, сам предпочитал отпирать виноград в рот чуть ли не целыми кистями и глотал его целиком, вытягивая шею, словно курица.

Высокий йигит, встретивший стариков, принес гостям чай, поставил перед ними поднос с лепешками, сушеной дыней и развернул платок с тыквенными пирожками.

Сыдык-джан рассказал Курбану-ата, каким ему показался в первый раз Урман-джан, что он пережил тогда, что передумал, когда ехал в эту сторону; как он работал на этом рынке в первые дни и затем в последующие; кто и как отнесся к нему, какой человек „райком товарищ Ахмедов“; сообщил о скандале, который учинила Шарафат, о том, что правление недавно приняло его в члены колхоза, и тут же сознался, что, хотя он и не сомневается в том, что общее собрание колхозников утвердит решение правления, порой душу его охватывает смутение и страх. Курбан-ата слушал торопливый, сбивчивый рассказ Сыдык-джана с большим вниманием, радовался его успехам и гордился тем, что он сыграл во всем этом не последнюю роль.

— Ну, как, не говорил я? — улыбнулся он. — Мог ли я, как сказал когда-то Афанди, при своей белой бороде говорить ложь?! Если бы ты напугался тогда слов Урман-джана, что в этом колхозе работы много, а еды мало и что новых сапог здесь скоро не справишь, и не пришел бы сюда, то сейчас бог знает где скитался бы. В наше время человек, который живет своим трудом, никогда, конечно, в обиде не останется, но у каждой травинки, как говорится, есть свои любимые места, где она произрастает.

— Верно, атахан. Но Урман-джан ака тогда говорил так не для того, чтобы испытать меня. Здесь и в самом деле работы много, а жизнь — ходишь, что мирза, а живешь, что собака...

Курбану-ата в этих словах послышалась жалоба на трудности жизни и он с укором сказал:

— Готового плода нигде не найдешь, а потеряешь — и из незрелого урюка халва поспеет...

— Я знаю, атахан, я и не жалеюсь, — поспешила пояснить свою мысль Сыдык-джан, — нет, не жалеюсь. Меня ведь сюда арканом вытто не ткнул. Урман-джан тогда предупреждал меня обо всем с

самого начала. Он хотел сказать, что у Капсанчей от дедов и прадедов осталось много незаконченных дел и своей работы по макушку, да к тому же надо прежде подумать о детях и внуках, чтобы им жилось полегче, а потом уже о своих желаниях, о новых сапогах. Я сам своими глазами увидел потом все, о чем говорил этот человек. Меня здесь никто не привязал за шею. Я не жа- луюсь, не хнычу. Да здесь никто не жалуется и не хнычет. Те, кто хныкал и жаловался, давно бросили колхоз и сбежали. Я живу у одной старушки, у тетушки Анзират. Сама она такая добрая, прямо райская старушка. Так вот у этой старушки зять сбежал... А сейчас он на базаре перцем торгует, будто. У каждого свой нрав...

— Теперь из трудностей, наверное, уже тридцать девять частей миновало и одна только часть осталась?

— Верно, атахан, из сорока трудностей одна осталась, но осталась самая большая. До весны мы должны раскорчевать и подготовить двести двадцать гектаров новой земли.

— Сколько? — спросил Курбан-ата удивленно.

— Двести двадцать гектаров.

— Не гектаров, наверное, а танапов двести двадцать?

— Нет, атахан, гектаров. Я знаю — один гектар составляет шесть танапов. Большинство здешних мест — тугай. За зиму мы должны все эти тугай свалить и выкорчевать пни.

— Это, наверное, только разговор один? Столько земли, к тому же большая часть тугай... Это неосуществимое дело...

— Нет, атахан. Недавно наш райком товарищ Ахмедов обошел все целинные участки и участки под тугаями, составил план и поставил его на совещании в районе. А говорят, если этот чело- век составил план, то так оно и будет. Нестоящее дело на сове- щании не поставят. Конечно, будет трудно, не без этого. Урман- джан ака так и говорит.

Сыдык-джан умолял, засмотревшись на толпы людей, беспре- рывно сновавших по холмам, по берегу реки, по насыпи канала и по плотине, где, словно раскаленный уголь, горели на солнце красные ворота шлюза. С холма у плотины вдруг послышалось уханье, и вслед за этим над его вершиной взметнулись четыре карная. Откинувшись назад и выставив животы, четверо карнайчей из всех сил разом дули в свои длинные трубы. Рев карнаев по- крывал все другие звуки; тонкие голоса сурнаев, врывавшиеся по временам в короткие минуты тишины, казались слабым блеянием коз. Курбан-ата молчал. Он снова вспомнил о Фарманкуле и его жене. Ему казалось, что души обоих летают здесь же, над голо- вами бесчисленного множества людей, и радуются вместе с ними.

С чайником чая подошел Урман-джан. Его не заметили ни Сыдык-джан, ни Курбан-ата.

— Что это ты засмотрелся? И отец заскучал...

Урман-джан опустился было рядом с Сыдык-джаном, но тот вскочил и усадил его на более почетное место, повыше.

— Нет, Урман-джан ака. Мы сидим тут и беседуем. Я расска- зал отцу о делах, какие предстоят нам зимой.

— Сынок, это все верно? — спросил Курбан-ата. — Двести двадцать гектаров, да еще большая часть под тугаями... Это, пожалуй, будет очень трудно?

— Да, будет трудно, — подтвердил Урман-джан и подмигнул в сторону Сыдык-джана. — Зимой этого года колхоз снова будет пропущен через сито, и я боюсь, как бы через это сито и Сыдык-джан ваш не проскочил.

Сыдык-джан выпрямился, расправляя грудь.

— Мы теперь уже выросли, Урман-джан ака. Прорвется ваше сито, и то мы не провалимся. Сейчас даже те, что во время постройки дамбы ушли, вокруг нас кружат, принохиваются.

— Кто же это? — заинтересовался Урман-джан.

— Дядя Рузымата.

— Ну?

— Три дня жил он у Рузымата, все расспрашивал о колхозе. А Рузымат его здорово поддел.

Урман-джан глянул вниз по склону холма и окликнул Рузымата, который сидел в кругу йигитов за арбузом. Рузымат взбежал на холм.

— Что изволите, Урман-джан ака, — спросил он и низко поклонился Курбану-ата. — С праздником!

Курбан-ата был смущен: открытие канала в самом деле было для этих людей большим праздником, — как же так могло получиться, что он не догадался поздравить ни Урман-джана, ни Сыдык-джана?

— Садись, — пригласил Урман-джан Рузымата. — Говорят, дядя твой приезжал?

— Да...

— Что он говорит?

— Э, Урман-джан ака, что ему говорить. Только и знает, что о колхозе расспрашивает: как было, да как будет... Услышал, что мы арык вывели, и говорит, что теперь и земли, что под пшеницей, под хлопок должны пойти. Я даже рассердился...

— А чем он занимается?

— Не знаю, не спросил.

— Что же ты ему сказал?

— А что я могу ему сказать... „Э, дядя, говорю, где нам до хлопка! Хорошо, что вы уехали, а мы вот никак не можем избавиться“. А он смотрит мне в лицо и глаза выпучил. Я и говорю ему: „Вырыли мы арык, а вода не идет, теперь вот собираемся на реке плотину ставить. И, если я утону в реке, то не поминайте меня лихом.“

Урман-джан, однако, не посмеялся шутке.

— Напрасно ты так, — подумав, проговорил он, — надо было сказать правду.

Рузымат даже побледнел. Улыбка, сиявшая в его глазах, вдруг исчезла. Не в силах вымолвить слова, он два раза раскрывал рот и, наконец, овладев собой, изменившимся голосом проговорил:

— Почему, почему это я должен был уговаривать его, чтобы он остался?

Урман-джан подмигнул Курбану-ата.

— Потому что одолевший борец должен помочь встать на ноги своему противнику.

— Вы говорите так потому, что он мой дядя? Верно, он дядя мне. Но он бросил меня лютой зимой, когда я, обмотав ноги шкуррой, пытался одной аталой<sup>1</sup> и таскал на своей спине землю. Разве, покидая меня, он не знал, что мне придется всю эту землю перенести на своих плечах? Конечно, знал! Он подло поступил, Урман-джан ака, да, подло! Вы говорите, что палван протаскивает руку, чтобы поднять своего противника. А что он, упал тагаясь со мной? Нет! А теперь, видишь ли, он арыком... хлопком интесуется, видишь ли!

В разговор вмешался Курбан-ата.

— Он ведь тогда не понимал, сынок, не понимал, не знал, что все это дело кончится благополучно.

— Чего он не знал, чего он не понимал? Вот когда Сыдык-джан пришел к нам, мы тоже не лакомились халвой и не сидели сложа руки, отговня мух. Почему же этот человек сразу понял? Почему, спрашиваю?

Сыдык-джан покраснел.

— Я тоже тогда многого не понимал. Помнишь, я говорил, что лучше грузчиком быть? А ты мне еще ответил, что, мол, кто за деньгами гонится, конечно, тому грузчиком лучше, а нам сейчас не деньги нужны, нам вода нужна.

— Что ж может и говорили, только вы все же не бросили нас!

Высокий йигит разостлал скатерть и поставил перед ними большую глиняную миску плова. Проворно вскочив, Рузымят полил всем из глиняного кувшина на руки. Урман-джан вопросительно взглянул на Курбана-ата: „А где, мол, наш гость?“ Махсум, оставив стариков, с которыми до этого ел виноград, уже подсел к следующей группе и там, поедая рыбу, рассказывал что-то о Неведе, который, якобы, метнул стрелой в самого аллаха, а тот, чтобы утешить своего раба, поймал на его стрелу рыбу, и что, якобы, открытая полость под жабрами у рыб и есть то самое место, куда попала стрела.

Заметив жест Урман-джана, Махсум тотчас вернулся на свое прежнее место и, не давая никому вымолвить слова, пока не было покончено с пловом, толковал о том, что морковь впервые выросла в раю и что рис — это не что иное, как зубы пророка Мухамеда. Курбан-ата, хотя и верил всему этому, стеснялся разглашований своего приятеля, считая, что здесь эти слова вовсе неуместны. Ему казалось, что все ждут не дождутся, когда Махсум закроет рот, чтобы поговорить о новых землях, о хлопке, о воде, о том, как они будут жить и трудиться.

Урман-джан выпил одну за другой две пиалы чая и, поручив Сыдык-джану развлекать гостей, спустился с холма. Махсум, — мол, он очень утомился и ему нужно чуточку отдохнуть, — заявил.

<sup>1</sup> Атала — мучная похлебка.

что на открытие канала не пойдет. После плова он съел еще по-  
торы лепешки, а затем растянулся на кошке и уснул.

Курбану-ата было очень неловко за своего слугника. Сходя с  
холма, он сказал:

— На это сословие лучше издали смотреть, а близко с ними по-  
ведешься — и веру потеряешь.

— Нет, почему же, — проговорил Рузымат, стараясь утешить  
старика. — Он, похоже, человек праведной жизни...

Не успели они спуститься с холма, как народ хлынул к плот-  
тине. Уже через минуту все холмы оголились; на равнине теперь  
остались только выпряженные арбы, лошади, волю да ишаки, об-  
ломанный кустарник, потоптанный янтак, песок и галечник.

У плотины все еще ухали карнаи. Рузымат исчез в толпе.  
Сыдык-джан же, оберегая Курбана-ата, не стал торопиться, и они  
остались далеко позади всех.

С того места, где они остановились, можно было лишь прибли-  
зительно различать тех, кто стоял на плотине. Первым Сыдык-  
джан узнал председателя районного исполнительного комитета,  
выделявшегося среди других полнотой и высоким ростом. Он стоял  
с правой стороны плотины у длинного деревянного шеста с раз-  
вешающимся красным флагом, прикрепленным на высоте челове-  
ческого роста. Карнаи, наконец, смолкли. Постепенно стали заты-  
хать крики и говор в толпе. Откуда-то послышалось ржание кова.  
В ушах загудел степной ветер.

Председатель райисполкома прошел на середину плотины, с  
минуту постоял, затем чуть заметно вскинул голову, и ушей Сы-  
дык-джана достиг еле слышный возглас: „Товарищи!“ Председа-  
тель говорил минут десять. Речь его несколько раз прерывалась  
рукоплесканиями и громкими возгласами одобрения. Наконец, под  
крики „ура“ и аплодисменты он, чуть подавшись вперед, разре-  
вал протанутую через плотину красную ленту. Один конец ленты  
взметнулся вверх и, трепеща в воздухе, исчез из глаз. В это самое  
время флаг чуть свернулся и стал подниматься вверх по шесту.  
Достигнув конца шеста, он снова развернулся и еще сильнее за-  
плескался по ветру. Снова послышались рукоплескания и возгласы  
„ура!“ На плотину вбежало несколько колхозников. Один из них  
оказался проворнее всех, — он в несколько прыжков достиг винта  
ворот плотины и с силой начал вертеть рукоятку. Сыдык-джан с  
завистью узнал в этом человеке Рузымата.

— Ийе, это же Рузымат! — воскликнул он. — Оббо, вот какое  
удовольствие получил!

Открыв ворота плотины, Рузымат выпрямился и гордо огля-  
делся. Было видно, что он и в самом деле испытывал большое  
удовольствие.

Председатель поднял руку. В установившейся на минуту тиши-  
не послышался его голос:

— Матери, отцы, сестры и братья, не уставать вам! Не уставать  
вам!

Ему в один голос ответили несколько тысяч человек:

— Бар болинг! Саломат болинг!<sup>1</sup>

— Счастливой жизни товарищу Ахмедову!

Над степью попрежнему стоял шум, крики, возгласы. Плотина скоро опустела. Восемь бубнистов, стоявшие по обеим ее сторонам — с каждой по четыре, забарабанили какую-то веселую мелодию. С обеих сторон плотины, — с каждой по три — выскочили шесть девушек в белых одеждах и, то поводя руками, то хлопая в ладоши, пошли навстречу друг другу. Это начинался концерт объединенных сил областного и районного театров. К артистам присоединились любители-колхозники — песенники, танцоры, остроеловы. Концерт затянулся дотемна.

Когда стемнело, в шести местах были разложены костры из жмыха. Все люди, старые и малые, мужчины и женщины, смешавшись, образовали шесть больших кругов. Костры, поднятые на деревянных треногах на высоту в полтора человеческих роста, горели ярким желтым пламенем, и в степи было светло, как днем. В одной стороне слышались песни, в другой плабьба, в третьей подвизались остроеловы.

Урман-джан нашел Курбан-ата и Сыдык-джана в кружке, откуда доносилась музыка. Оба они сидели в переднем ряду: Сыдык-джан то и дело выкрикивал: „Дост!“. Урман-джан опустился на колени рядом с Курбаном-ата. Старик радовался, словно малый ребенок, и, волнуясь, рассказывал обо всем виденном и слышанном, будто сомневался в том, что Урман-джан мог видеть все это своими глазами и слышать своими ушами.

После короткого перерыва музыканты заиграли уфар<sup>2</sup>. В круг вбежала какая-то молодка в чувстской тубетейке набскрень, одетая в мужского покроя бекасамовый халат, подпоясанный шелковым, цвета сивой вороны, поясным платком. Перебросив через плечо одну из свисавших на грудь толстых длинных кос, молодка широко раскинула руки, подалась вперед и, покачивая головой, в такт музыке мелко засеменяла по кругу. Сделав три круга, она вытащила на середину йгита, разодетого так же, как она. Тот в свою очередь вытащил в круг какого-то пожилого человека с бородой, напоминавшей широкое опахало. Бородач, что стыдливая девица, сначала пожеманничал несколько, а затем здорово насмешил всех, пустившись в пляс с молодкой в бекасамовом халате. После этого молодка остановилась перед председателем райисполкома. Со всех сторон слышались возгласы, крики, смех. Председатель тотчас же вскочил с места, закинул одну руку за спину, другую луком изогнул над головой, повел два-три раза плечом и, несмотря на свою полноту, легко, по-перепелиному, пошел по кругу. Хлопанье в ладоши, вначале слабое, под конец поглотило звуки саза. Увлеченный танцем, председатель несколько раз обошел круг, затем, бабочкой покружившись на одной ноге, неожиданно застыл перед Урман-джаном. Застеснявшись, Урман-джан

<sup>1</sup> Долгой жизни вам! Доброго здоровья вам!

<sup>2</sup> Уфар — название танца.



спрятался за спины соседей. Тут под руку председателя попался Курбан-ата. В ответ на приглашение старик поднялся с места, сложил руки на груди, проговорил что-то и показал свою хромую ногу. Председатель, однако, схватил его, поднял на руках и опустил на середину круга. Курбан-ата до того растерялся, что сначала не видел ничего, кроме пльвшего перед его глазами костра и стоявшего перед ним председателя. Наконец он справился с собой, раскинул руки и, чуть прихрамывая на поврежденную ногу, в первый раз в жизни пошел по кругу в танце.

Гулянье продолжалось до самой полуночи. Наконец люди начали расходиться. То там, то здесь заскрипели арбы, слышались окрики: „Пошт, пошт!“<sup>1</sup>.

Оказалось, что треноги костров были установлены на досках. Люди подхватили их и осторожно опустили на воду. Берега осветились, на воде засияли отблески пламени. Вслед пльвающим кострам по берегу арбы устремились сотни людей.

Урман-джан подвел Курбана-ата к одной из арб. Махсум уже давно расположился там и, низко опустив голову, дремал, похрапывая. На арбе, кроме него, было еще два человека. После Курбана-ата подошли еще четверо. На коня вскочил Сыдык-джан. Перед тем, как тронуться арбе, Урман-джан шепнул ему на ухо: „Гостей вези ко мне. У тетушки Анзират не хватит одеял. Я подъеду вслед за вами“.

Степь понемногу опустела. На флаг, полоскавший над плотной, упали первые лучи луны, выглянувшей из-за холмов. Арба, наконец, тронулась. Пльвшие по каналу костры, то скрываясь, то снова показываясь над берегом, далеко освещали степь. Когда арба проезжала мост, перед глазами ее пассажиров открылась чудесная картина: по каналу, кроме шести больших костров, пльло бесчисленное множество пущенных на досках каганцов и факелов.

— Это уже проделки ребят, — восторженно проговорил кто-то из сидевших в арбе.

Вслед за огнями по берегу канала следовали радостный гомон, смех, песни.

Гости переночевали в доме Урман-джана и наутро отправились в путь, провожаемые добрыми пожеланиями хозяина.

## СОБРАНИЕ

Они сидели у сандала и очищали кусак<sup>2</sup>. Тетушка Анзират протянула под сандалом руку и, тронув колено Канизяк, повела глазами в сторону Сыдык-джана. „Почему он такой невеселый?“ — говорил ее взгляд.

Сыдык-джан сидел, навалившись грудью на сандал, неторопливо тербил хлопок и о чем-то думал, засмотревшись через окошко на ворону, громко каркавшую на оголенной макушке „благородного

<sup>1</sup> Пошт — поди, берегись!

<sup>2</sup> Кусак — нераскрывшиеся коробочки хлопка.

тополя<sup>1</sup>. В состоянии такой тревожной задумчивости он выдал с позавчерашнего дня, с тех пор, как услышал, что сегодня будет общее собрание членов колхоза „Два Чивара“ и что на этом собрании будет рассматриваться и его вопрос.

После случая с Шарфат Сыдык-джан так вел себя, что Канизязк уже через несколько дней выкинула из сердца все обиды и огорчения и стала к нему даже добрее, чем прежде. Теперешнее состояние Сыдык-джана она заметила еще до предупреждения тетушки Анзират. Вспомнив, с какой тревогой он сообщил о предстоящем собрании, она догадалась о причине его задумчивости, но успокаивать его, хотя и считала тревогу эту напрасной, не сочла возможным, чтобы не вводить его в смущение, так как видно было, что он старается скрыть свое волнение от других. Сейчас, когда его тревогу заметила даже тетушка Анзират, Сыдык-джан показався ей особенно удрученным, и она решила заговорить с ним.

— О чем это вы так задумались, Сыдык-джан ака? — спросила она как можно спокойнее.

Так как Сыдык-джан задержался с ответом, то в разговор вмешалась тетушка Анзират.

— Братец ваш думает над тем, когда же он разбогатеет, — пошутила она.

Сыдык-джан, все так же глядя в окошко, неторопливо pokrutil ус и, будто рассуждая сам с собой, сказал:

— А разве этого богатства мало для меня, матушка? У меня есть такая как вы, благодетельница... вот Канизязк-хан... друзья-приятели. Очень хорошие друзья-приятели и товарищи есть... Я здесь нажил себе братьев, сестер...

Канизязк тут же прицелилась к слову.

— Сегодня их на собрании будут принимать. Теперь они членом колхоза будут... а, Сыдык-джан ака?

— Да, пройдем через собрание, станем членом колхоза...

Тут тетушка Анзират вдруг высказала прямо то, к чему Канизязк собиралась подойти осторожно, намеками.

— А, я и забыла, сегодня ведь тебя будут пропускать через собрание! Ты об этом и думаешь, наверное? Сердце, видно, постукивает...

Канизязк, словно она была вполне уверена, что у Сыдык-джана и в мыслях такого не могло быть, расхохоталась.

— Ну и тетушка, и откуда вы взяли такое... Почему у них сердце должно постукивать? Что, собрание только для них придумано? Ведь все, все мы через собрание принимались. Сыдык-джан ака все знают. Он в одну минуту пройдет, никто прогнев не будет. Вот увидите!

— Он боится, что у него могут спросить что-нибудь, а он слов не найдет для ответа, растеряется, — улыбнулась тетушка Анзират.

— О чем тут спрашивать, все давно уже известно. У меня тоже никто ни о чем не спрашивал. А если и спросят, не из четверо-

<sup>1</sup> Благородный тополь—серебристый, пирамидальный тополь.

книжки же будут спрашивать! Или и правда, Сыдык-джан ага, вы этого боитесь?

Сыдык-джан помолчал.

— Того, что на собрании мне кто-нибудь будет препятствовать и что у меня будут спрашивать, а я не сумею ответить, я боялся пять-шесть месяцев назад. А сейчас я ничего не боюсь. Даже если на собрании не примут меня, и то не обижусь, по той причине, что стать членом колхоза, это значит стать хозяином колхоза. А что я сделал такого, чтобы мне стать хозяином „Двух Чинаров“ наряду с людьми, которые вынестовали колхоз? Я ведь пришел сюда, когда колхоз уже стал на твердую дорогу. Если на собрании меня проведут, то на мои плечи падет большой долг, и чтобы погасить этот долг, мне придется много пота пролить. Если же не проведут, если скажут, что я еще не достоин стать членом колхоза, я должен буду пролить этот пот, чтобы удостоиться этого членства. Не боюсь я и того, что могу растеряться. Если я собьюсь, есть много людей, которые тут же меня поправят. Все могут поправить.

— А почему же ты такой задумчивый? — спросила тетушка Анарат. — Будто сердце у тебя не на месте...

— Что сердце у меня не на месте — правда, только это не потому, что я боюсь.

— А почему же тогда?

— Отчего это, я, пожалуй, сказать не смогу. Вот будто на кончике языка висит, а сказать не умею. — Сыдык-джан помолчал немного, взглянул на Каниязк и продолжал:

— Я прожил столько лет, и до сих пор ни один человек мне в лицо не посмотрел, ни один человек имени моего не помнил, не подумал обо мне, хотя бы с минутой. Ни один человек, даже жена, с которой я столько лет на одной подушке спал, не спросила меня, кто я, зачем я родился на свет, что я собираюсь делать, о чем я думаю, к чему стремлюсь; никто уха ко мне не склонил — мол, и он тоже ведь человек. Да у меня, как я подумаю, и желаний тогда не было, и не мечтал я ни о чем. А теперь вот не один, не десять, а сто с лишним человек будут смотреть мне в лицо, будут спрашивать [то] я, что я делаю, каковы мои желания, мечты. Столько человек будут помнить мое имя, будут говорить о том, что они думают обо мне, расспрашивать меня, не смеяться будут над моими словами, не вышучивать их, не высмеивать будут, а выслушивать меня как равного... И вот подумаю я обо всем об этом, и сам не знаю, что со мной делается и, правда, будто сердце сжимается... Да нет, пожалуй, не сжимается... Это, видно, по-другому как-то называется. Когда я прибыл сюда, осмотрелся и решил остаться, я имел в виду только то, что желудок мой будет сыт, я буду одет, обут, что в кармане у меня постоянно будет деньги на расход — и только. А оказалось — есть кое-что поважнее. И перед этим желание иметь новый халат и пачку хрустящих бумажек в кармане кажется очень мало стоящим. Проведут ли меня на собрании или не проведут, дело не в этом, а в том, что обо мне будут говорить столько человек, да еще на специально созванном собрании.

Тетушка Анзират, — она, видно, не очень и прислушивалась к его словам, — зевнула, широко открыв рот, затем, поднимаясь, сказала:

— Ничего, сынок, ничего, как бы там ни было, ты на собрании пройдешь.

Отодвинув в сторону хлопок, старушка взяла корзину с пустыми воробочками и вышла наружу. Сыдык-джан, будто желая пожаловаться, что тетушка Анзират не поняла его, взглянул на Канизак. Молодая женщина глубоко вздохнула.

— Это так, Сыдык-джан ака. И правда, бывает время, когда человек сам себя не узнает.

— Что? — спросил Сыдык-джан.

— Когда я сюда пришла, у меня тоже не было ни надежд никаких, ни желаний. А настал день, и я вот, так же, как и вы, сама себя не узнала.

Сыдык-джан обрадовался.

— Вот-вот, это самое! Это самое я и хотел сказать! Оно и висело у меня на кончике языка!.. Говорят, что аллах, создав всех тварей, решил каждому определить срок жизни. Чтобы получить свой срок, к нему прежде всего пришел ишак. „Хош, какой же срок тебе отпустить, сорока лет хватит?“ — спрашивает аллах. Ишак подумал: „А что я буду делать все эти сорок лет?“ — спрашивает. „Что же ты будешь делать, — отвечает аллах, — люди на тебе будут грузы возить и сами будут верхом ездить; подгонья, будут этаким палочкой тебя в загорбок тыкать“. Ишак выслушал аллаха и говорит: „Если так, мне и двадцати лет довольно!“ Аллах отпустил ему двадцать лет, а остальные двадцать спрятал себе в сумку. После ишака пришла собака. „Сколько тебе надо жизни, сорока лет хватит?“ — спрашивает аллах. „А что я буду делать все эти сорок лет?“ — говорит собака. „Будешь жить у порога людских домов, — отвечает ей аллах, — если бросят кость, будешь есть“. Собака тоже взяла себе только двадцать лет жизни, а остальные двадцать вернула аллаху. После них к аллаху пришел человек. Аллах и спрашивает: „Хош, сколько же тебе надо жизни, сорока лет хватит?“ „А что я буду делать все эти сорок лет?“ — „Возьмешь себе жену, будешь заниматься хозяйством и будет твоим весь белый свет,“ — отвечает аллах. Человек даже растерялся. „Если так, — говорит он, — вы мне дайте восемьдесят лет жизни. Меньше восьмидесяти я и не возьму!“ Аллах согласился, только добавочные сорок лет взял не целиком, а отдал те, что остались от ишака и от собаки. С тех пор, говорят, человек в первую голову живет свои сорок лет, потом сорок лет, полученные за счет ишака и собаки. И вот, когда подумал я, то оказалось, что я свою жизнь начал с той доли, которая полагалась ишаку и собаке: сначала я жил у порога людей и ждал, когда мне бросят кость, затем я носил на себе чужой груз и хозяина этого груза. И только вот здесь началась та доля моей жизни, что причитается мне самому, человеческая доля жизни.

Слова эти очень понравились Канизак.

— Вы, Сыдык-джан ака, если на собрании попросят вас сказать

слово, расскажите вот это! Расскажите, а?

— Расскажу, — ответил Сыдык-джан, расхрабрившись.

— Люди здорово этому посмеются. Только вы, наверное, не расскажете как следует, не сумеете. Человек в таких случаях те-ряется.

— Я не растеряюсь.

— Ой, растеряетесь!

— Нет!

— А ну, как вы начнете?

— Как же мне начинать, встану с места, вот так... — Сыдык-джан поднялся. — Вот так встану и скажу: „Товарищи!“ скажу...

В это самое время снаружи послышался голос джарчи<sup>1</sup>, оповещающего людей о собрании.

Тетушка Анзират осталась с детьми.

...Пронизывающий холод. Со всех сторон слышится карканье ворон. Где-то чиркают воробьи. Скучно одетые люди, кутаясь и поеживаясь, спешат к красной чайхане на площади Лягушиного заповедника. Открытый навес летнего помещения чайханы окружен камышовой стеной, в ней вместо окон прорублены отверстия и заклеены газетами.

Внутри темнота, глухой шум, говор. Полно людей. Где-то в углу хнычет ребенок. Совсем рядом булькает чадим. Сорокакаменной висячую лампу, видно, только что зажгли, фитиль ее еще как следует не разгорелся. В тусклом свете виден кумач, которым накрыт стол президиума, лист бумаги на нем, портрет, прикрепленный к задней стене, угол какого-то плаката; головы людей, сидящих впереди стола, кажутся отлитыми из черного воска.

Канизяк тут же окликнули. С трудом пробираясь между сидевшими людьми, она прошла на другую сторону помещения. Сыдык-джан, словно он не был в состоянии без нее сделать шага, сразу же опустился на корточки. Здесь сидели, образовав кружок, агроном Ибрагимов, Закир-ата, Таджи-бай, Зиеда-хан с ребенком на руках и еще три-четыре человека. Осмотревшись, он приветствовал их всех общим „Салам!“ Зиеда-хан первая ответила на приветствие, но при этом как будто ехидно усмехнулась, и Сыдык-джан взволновался: показалось ему или она в самом деле ехидно усмехнулась и если усмехнулась, то что явилось тому причиной и к кому усмешка относилась?

Пока он собирался сказать что-нибудь подходящее случаю, чтобы разобраться в своих сомнениях, открылось собрание, и Зиеда-хан, избранная в президиум, поднялась. Сыдык-джан хотел было помочь ей, когда она протянула ребенка женщине, сидевшей рядом с ним по другую сторону, но она, хоть и с трудом, дотянулась сама. Сыдык-джан недоумевал: „В чем дело? Обижается на меня, или мне это только кажется?“

Подойдя к столу, Зиеда-хан наклонилась к Урман-джану и что-то сказала ему. Урман-джан подумал, мотнул головой и взглянул в

<sup>1</sup> Джарчи — глашатай.

сторону Сыдык-джана. Усевшись за стол, Зиеда-хан что-то сказала сидевшим по обе стороны от нее двум колхозникам. Сыдык-джану показалось, что и они после этого тоже посмотрели в его сторону. Затем сидевшие в президиуме что-то стали передавать друг другу на ухо. Наконец, Зиеда-хан, собираясь что-то сказать народу, встала и снова взглянула в сторону Сыдык-джана. Щеки ее побледнели, глаза казались больше обычного, листок бумаги, который она держала в руках, дрожал. Вот так же она побледнела тогда весной под балхским гутом, когда обиделась на Сыдык-джана! Такими же большими были ее глаза и так же дрожала рука, когда она протянула ее за упавшим под ноги платком! Сердце Сыдык-джана дрогнуло, по всему телу до самого кончика языка пробежал холодок. Вид у нее не добрый. Неужели она хранила обиду против меня, дожидаясь этого собрания, и начнет собрание с моего вопроса! Неужели она сейчас обрушит на мою голову свои укоры и с землей сравняет меня перед всем народом! А вдруг она скажет: „Ладно, мы его проведем, только пусть он бросит вот такие-то и такие привычки, они не к лицу колхознику,“ — и передаст все как быто! Потому-то она, наверное, и мужу не рассказала о случившемся. И правильно: если она сама может как следует пробагать, зачем ей жаловаться и просить об этом мужа? А ведь если она расскажет обо всем, то люди, пожалуй, и на скандал с Шарифат могут взглянуть по-иному? Что тогда будет? Что скажут люди, из которых один считал меня сыном, другой братом, третий другом? А что будет, если все это дойдет до ушей товарища Ахмедова? О! Тогда лучше сразу на семьдесят двух виселицах быть повешенным! И почему я тогда сам себя ножом не ударил, почему не передал Балта-баю нож и не подставил ему шею!..“

Зиеда-хан, наконец, справилась с волнением и объявила повестку дня собрания. Первым стоял вопрос об использовании долгосрочной ссуды, полученной от государства, и о плане колхоза на будущий год. Вопрос Сыдык-джана, иначе — утверждение постановления правления, значился в текущих делах. По пословице: пока топор не опустится и пень отдыхает, — Сыдык-джан обрадовался и этой отсрочке.

По первому вопросу слово было предоставлено Урман-джану. Как показалось Сыдык-джану, тот, чтобы не затягивать и поскорее перейти к текущим делам, заговорил с середины, даже не сказал, как это обычно делается, „Товарищи!“, а прямо начал: „В этом хозяйственном году мы должны будем выйти на поверхность земли“. Он заговорил о том, как надо будет использовать долгосрочную ссуду, какими возможностями колхоз в связи с этим будет располагать и как должно будет развиваться хозяйство колхоза.

Затем он подробно сообщил наметки правления по осуществлению этих планов. Все свое внимание правление сосредотачивало на расширении площади под хлопок, на превращении колхоза в хлопковый колхоз, на снижении себестоимости хлопка. Хотя Сыдык-джан и слушал с большим вниманием, но всякий раз, когда люди, приветствуя то или иное заявление председателя, принима-

иясь хлопнуть в ладоши, у него обрывалось сердце: „Ну вот, он уже кончил, теперь перейдут ко второму вопросу“. Под конец Урман-джан, не скрывая, сказал, какой тяжелый труд падает на плечи каждого члена колхоза в предстоящем хозяйственном году, и призвал колхозников стойко переносить все трудности. На этот призыв собравшиеся ответили громкими продолжительными аплодисментами.

Установилась тишина. Сыдык-джан, низко опустив голову, тревожно ждал.

— Вопросы есть? — спросила Зиеда-хан, приподымаясь. Сыдык-джан поднял голову. Из дальнего угла послышался чей-то голос:

— У меня есть! Урман-джан ака, говорят, будто колхоз „Единение“ присоединяется к нашему колхозу, верно это?

— У наших районных руководителей такая мысль есть и, если так случится, будет неплохо, потому что в „Единении“ земли мало, а силы много, а у нас же земли много, а силы мало. Кроме того, „Единение“ — хлопковый колхоз, у них много людей, хорошо знающих хлопок. Этот вопрос нам еще придется решать.

— Еще один вопрос: если мы соединимся, мы выиграем от этого или „Единение“ выиграет?

Урман-джан рассмеялся.

— Если они выиграют, то в их выигрыше мы половинщиками будем, а если мы выиграем, то они будут половинщиками у нас.

Послышался громкий смех. Человек, задавший вопрос, смутился и поспешил сесть. После этого, отвечая на вопросы других участников собрания, Урман-джан разъяснил, что в первую очередь нужно построить дома под ясли, под детский сад, под школу и возвести рааные хозяйственные постройки, дал справку, сколько колхозов будет иметь дохода от раскорчевки тугаев, сообщил некоторые подробности договора, который будет заключен с МТС.

Когда постановление по первому вопросу было принято и стало ясно, что собрание сейчас перейдет к обсуждению текущих дел, у Сыдык-джана снова защемило сердце. Теперь он пытался определить настроение Зиеда-хан уже не по выражению лица, а по голосу. Зиеда-хан предоставила слово секретарю правления.

В это время откуда-то появилась Капизяк и тиховько подтолкнула Сыдык-джана.

— Сыдык-джан ака, ну как, расскажете?

— О чем? — спросил Сыдык-джан, стараясь подавить дрожь в голосе.

— О чем дома рассказывали, с чего вы начали свою жизнь. Я передала Зиеда-хан апа, и она говорит: обязательно пусть расскажет. Так вы расскажете?

Сыдык-джан поднял голову, уставился на Капизяк с таким видом, будто он только что очнулся от крепкого сна и еще не пришел в себя, затем, несколько овладев собой, спросил:

— А когда вы говорили с ней?

— Сейчас только говорила. Разве вы не видели?

— И что она сказала?

— Она сказала, — пусть расскажет, — я ему слово предоставляю. Сыдык-джан взглянул на Зиеда-хан, та улыбнулась ему и ободряюще кивнула головой. Сердце Сыдык-джана забилося так, словно ему вот здесь, перед всем народом, предстояло совершить великий подвиг, от которого будет зависеть вся его жизнь. Волна горячей крови пробежала по всему телу, залила мозг.

Секретарь зачитал постановление правления, но Сыдык-джан этого не слышал. Сначала Урман-джан, а вслед за ним Зиеда-хан сказали по несколько слов, но Сыдык-джан не мог понять их смысла и только чувствовал, что они отзываются о нем хорошо и слова говорят хорошие. Со всех сторон послышались голоса, но что говорили люди, также не достигало сознания Сыдык-джана.

— Ну-ка, Сыдык-джан Сахибджанов, — сказала Зиеда-хан, — покажите себя!

Со всех сторон послышались голоса:

— Видали, знаем! Сыдык-джана мы хорошо знаем!

Сыдык-джан резко поднялся. Зиеда-хан смотрела на него и улыбалась. Сыдык-джан смущенно опустил глаза. Канизьяк наступила ему на ногу.

— Ну, говорите! Говорите, как бог делил жизнь всем тварям! — проговорила она шопотом.

Сыдык-джан, однако, ничего не слышал и не замечал.

— Слово Сыдык-джану Сахибджанову! — сказала в это время Зиеда-хан.

Сыдык-джан поднял голову, взглянул на Зиеда-хан, на Урман-джана и, наконец, заговорил.

— Что я могу сказать! Это вот мои братья, сестры... Я однажды ухватился за полу их халата и дальше держаться буду... Работать буду... Раньше я думал: в колхозе люди сообща работают, а затем делают урожай — и все, а оказывается, нет, колхоз по другому... Я в жизни первый раз говорю, а потому прошу прощения...

Всем было ясно, что Сыдык-джан не найдет других слов. Зиеда-хан сделала ему знак: „Садитесь!“

В это время из дальнего угла послышался голос Тилля-бобо.

— Урман-джан, сынок! — Тилля-бобо, расталкивая людей, прошел к столу президиума. — Не знаю, сохранилось ли в твоей памяти... Весной, когда я дежурил у клевера, передавал тебе один узелок, разберитесь, мол...

Сыдык-джану вспомнился шелковый платок с сахарным песком, мылом и разной мелочью, спрятанный им между снопов клевера, и в голове у него зашумело: „Оббо, накажи меня аллах! Тот узелок, оказывается, этому неверному в руки попал. И почему он сейчас говорит об этом, или он видал, что я положил? Да, наверное, видал!“

Урман-джан поднялся из-за стола, подошел к старику и, приставив ладонь ко рту, крикнул ему на ухо:

— Мы разобрались! И какая нужда вам была спрашивать сейчас, где вы были до этого времени?

Тилля-бобо виновато улыбнулся.



— Из памяти выскочило, сынок, а сейчас снова пришло на память. Ну, если разобрался, то и говорить не о чем.

Старик вернулся в свой угол. Урман-джан занял место у стола. На слова старика никто не обратил внимания.

Больше ни выступлений, ни вопросов не было. Когда Зиедахан объявила, что ставит на голосование решение правления, Сыдык-джан встал и, не оглядываясь, вышел. Его исчезновение не заметила даже Канизяк. Когда собрание кончилось, друзья и приятели долго искали его, чтобы поздравить, но так и не нашли. Канизяк побежала домой. Сыдык-джана не оказалось и дома.

## ТОВАРИЩ САХИБДЖАНОВ

Занявшись после собрания разными неотложными делами, Урман-джан вернулся домой только к полуночи. Он был очень доволен тем, что люди оказались дружными, и собрание прошло так, как надо. Сидя у сандала, он пытался представить себе, как эти люди завтра-послезавтра, накинувшись, что муравьи, будто клевер, повалят тугай, как на полях «Двух Чинаров» загудит потом трактор, а вместо землянок забелеют новые дома и вырастет новый колхозный кишлак.

Когда Тохта-ниса, разостлав скатерть, поставила на сандал ужин, снаружи кто-то постучал, затем чуточку приоткрылась дверь и послышался голос Сыдык-джана:

— Сестрица, Урман-джан ака дома?

Урман-джан приподнялся и широко раскрыл дверь.

— Сыдык-джан! Что ты тут делаешь? Проходи сюда, проходи!

Сыдык-джан вошел. Вид у него был усталый и подавленный, побледневшее лицо при тусклом свете лампы казалось страшным. Он сложил на груди руки и, низко опустив голову, печальным голосом попросил прощения:

— Я потревожил вас безо времени...

Урман-джан сразу догадался, зачем пришел Сыдык-джан.

— Ничего, ничего, садись. Раз оказалось дело, какой может быть разговор. Садись, проходи вот сюда!

Сыдык-джан опустился у сандала, не поднимая глаз, вытер под носом указательным пальцем, откашлялся.

— Ну, давай, принимайся за еду, — предложил Урман-джан, пододвигая к нему чашку. — Что это ты после собрания так скоро ушел? Рузымат там всех насмешил, — говорит, ты сбежал, покушавшись на угощение. Придется, видно, тебе все-таки их собрать и устроить плов.

Сыдык-джан, все еще сидевший с низко опущенной головой, поднял руку и мизинцем протер уголки глаз.

— Теперь, пожалуй, тебе можно будет и мать проведать, — продолжал Урман-джан, заметив, что тот не в силах выдать звука. — Мать, бедняга, соскучилась наверно. Ты, видно, и письма ни одного не послал? Или посылал?

Сыдык-джан с трудом сглотнул слюну и со слезами на глазах

взглянул на Урман-джана. В горле у него першило, веки дрожали. Тохта-ниса поспешила выйти.

— Уезжаю, Урман-джан ака, не обижайтесь... — проговорил, наконец, Сыдык-джан и, чтобы не разрыдаться, крепко стиснув зубы, закрыл лицо руками. — Уезжаю..

— Что, что случилось? Почему это? — спросил Урман-джан, делая вид, что он не понимает в чем дело и очень удивлен. — Кто тебя обидел?

— Никто... Отдайте мой платок...

— Какой платок?

— Тот, о котором Тилля-бобо говорил...

Урман-джан притворно расхохотался.

— А-а, ты вон о чем? Так этот грех мы еще тогда простили тебе.

Урман-джан поднялся, вынул из маленького красного чемодана платок и, возвратившись, положил его на сандал. Сыдык-джан вдруг ударил себя по голове, разрыдался и упал к ногам Урман-джана. Урман-джан подхватил его и тут же заставил встать.

— Сыдык-джан! Ты с ума сошел! Что это значит?..

Сыдык-джан кидался из стороны в сторону, пытался удариться головой о землю, затем, дрожа всем телом, как в лихорадке, прохрипел:

— Урман-джан ака, родной мой! Мой грех не только в этом!..

— А что, что ты еще наделал? Человека убил?..

Сыдык-джан вдруг выпрямился, выхватил из ножен нож со слоновой ручкой и, протянув его Урман-джану, подставил шею.

— Режьте, Урман-джан ака, бейте! Пусть моя кровь будет пролита к вашим ногам... Один стои издам — не йигит и!..

Урман-джан взял нож, бросил его на сандал, затем опустился на корточки и положил обе руки на плечи Сыдык-джана.

— Ты Расскажи, в чем дело? Или нельзя рассказать?..

— Сказать — язык сторгит, не сказать — сердце... Братец, родной мой, вы столько сделали хорошего для меня! Пусть не будет этого клейма на моем сердце! Оно меня съест, изведет меня... Когда я прибыл сюда, я, кушая вашу соль, собирался ноги протянуть вам на скатерть... я тогда не знал вас, Урман-джан ака...

Урман-джан перебил его.

— Это ты насчет приставаний к Тохта-нисе? — спросил он таким тоном, будто ничего особенного на случилось.

Сыдык-джан, резко вскинув голову, взглянул на Урман-джана. В глазах его отражалось удивление и страх.

— Я все знаю, — проговорил Урман-джан, чуть усмехаясь, — Тохта-ниса рассказала мне. Тогда же и рассказала. Мы и этот грех тебе простили... Сядь прямо, если кто войдет, что подумает!

Сыдык-джан выпрямился и широко открытыми глазами уставился на Урман-джана. Взяв с сандала нож, Урман-джан протянул его Сыдык-джану.

— На, вложи его в ножны. Весной он еще пригодится тебе... Огурцы очищать... для Зиеда-хан...

Сыдык-джан опустил голову.

— Мы и про этот грех твой знаем, — все так же усмехаясь, сказал Урман-джан, — но и его простили тебе.. Конечно, если бы узнал Балта-бай, он не простил бы, он бы тебе голову снял и рядом с тобой положил... Ты говоришь, не знал тогда нас. Дело не в том, что ты нас не знал. Если бы ты все это сделал тогда только потому, что не знал нас, ты бы сейчас так не мучился. Дело в том, что ты тогда сам себя не знал. И мучаешься ты сейчас не потому, что нас не знал или не знаешь, а потому, что ты сам себя не знаешь! Из твоих слов выходит, что ты и сейчас можешь украсть что-нибудь или оскорбить жену человека, который тебе ничего плохого не сделал. На самом же деле это не так. Вовсе не так!

В груди Сыдык-джана что-то будто раскрылось, по всему телу растеклось что-то теплое и смыло все то, что до сих пор камнем лежало у него в груди и отравляло его существо. Еле сдерживаясь от невольной улыбки, он обернулся к Урман-джану.

— Нет, нет! Конечно, нет, Урман-джан ака! — он хотел еще что-то добавить, но в это время с чаем вошла Тохта-ниса и слова застряли у него в горле, а голова сама опустилась на грудь.

— Так когда же ты все-таки собираешься навестить мать? — спросил Урман-джан.

— Когда вы скажете...

— Надо бы пораньше тебе съездить. Потому что мы учебу скоро начнем. Послезавтра сумеешь поехать?

— Хорошо, — покорно ответил Сыдык-джан.

Тохта-ниса протянула ему чашку чая. Сыдык-джан предпочел бы сейчас лучше провалиться в тар-тарары, чем сидеть против этой женщины. Урман-джан заметил это и, чтобы отвлечь его, снова заговорил о поездке к матери.

— Завтра вечером я поеду в район, — сказал он, — и могу ко дню твоего отъезда не вернуться. Поэтому давай сейчас и прощаемся с тобой. Матери твоей, братишке и друзьям-приятелям от нас передавай привет. Сынишку возьмешь с собой?

— Да, я хотел взять, — ответил Сыдык-джан, поднимаясь.

— А ты лучше не бери. Если хочешь послушать меня, то и про ссору с женой не рассказывай. Нет необходимостишний раз беспокоить старуху.

— Мне и тетушка Анзират так говорила. Если и вы советуете не брать, то я так и сделаю.

Урман-джан заметил, что Сыдык-джан что-то хочет сказать еще, но не решается, и потому вышел проводить его.

— У тебя еще есть что сказать мне?

Сыдык-джан остановился.

— Да, есть, Урман-джан ака.

— Хоп.

После некоторого раздумья Сыдык-джан, наконец, сказал:

— Значит я и вправду теперь член колхоза?

— Да, а что, не верится?

— Нет, я... Когда поеду в кишлак, в разговоре, может быть,

придется сказать кому-нибудь из приятелей, один может поверить, а другой и не поверит. Хорошо бы секретарь, хоть на маленькой, в два пальца, бумажке написал мое имя и подтвердил бы это, приложив печать...

Урман-джан улыбнулся.

— Хоп, хоп. Ты завтра в полдень наведайся к секретарю, он тебе членский билет выпишет.

Не находя слов для благодарности, Сыдык-джан поспешил домой. Он был несказанно рад, на душе его было светло, он чувствовал себя здоровым, крепким, способным на любое трудное дело.

На утро до полдня Сыдык-джан раза три-четыре бегал к секретарю и, наконец, застал его дома. Секретарь сидел за сандалом, обложившись со всех сторон тетрадами и бумагами, и о чем-то спорил с бухгалтером. Увидав вошедшего, он коротко обронил: „А, вы пришли уже...“, затем вынул из стоявшего рядом обитого черной жестью сундучка маленькую тетрадочку, протянул ее Сыдык-джану и снова занялся своим делом. Сыдык-джан был рад, что так скоро и просто получил билет, но в то же время немало подивился тому, что секретарь отнесся к этому делу с таким равнодушием и что могло оказаться дело более важное, чем выдача билета. Когда он вышел на улицу, это удивление переросло у него в сомнение, и ему даже не хотелось верить, что это и есть настоящий билет. Хорошо бы подвернулся человек, который прочитал бы хорошенько, разобрался бы и сказал, что это за билет. Сыдык-джан побежал к агроному Ибрагимову. Ибрагимов, кутаясь в воротник накинутого на плечи пальто, сидел за книгой. В углу землянки шипел примус, на нем стояла какая-то жестяная посуда, из которой шел пар. В помещении пахло сажей и жженой глиной.

— Салам, товарищ Ибрагимов! — Сыдык-джану до сих пор ни разу не приходилось обращаться к кому-нибудь вот так запросто, называя товарищем, поэтому собственный голос показался ему каким-то чужим, неуверенным. — В свой кишлак собрался, и вот зашел проститься с вами.

Ибрагимов поднялся и протянул руку.

— Вон как... Да, я чуть не забыл, поздравляю! Вчера не сумел поздравить вас, вы куда-то ушли.

Сыдык-джан покраснел.

— Да, по дому была небольшая забота... Что же вы сандала себе не сделаете, вы же совсем замерзли!.. До свиданья, в таком случае, до встречи... Я, собственно, сегодня с утра хотел выехать, да секретарь никак не соглашался, настаивал, чтобы я билет свой забрал. Сейчас только был у него, вот написал.

Сыдык-джан протянул Ибрагимову свой членский билет. Ибрагимов взял билет, сначала перелистал его, затем прочитал:

— Сахибджанов Сыдык-джан... Фамилия ваша, значит, Сахибджанов?

— Сейчас стала.

— А раньше как была? — спросил удивленный Ибрагимов.

— Кто же нас раньше называл по фамилии и записывал? Правильно он записал?

Ибрагимов улыбнулся.

— Да, правильно. Товарищ Сахибджанов... член колхоза „Два Чинара“.

— И это написал, — проговорил Сыдык-джан, улыбаясь. — Ну, этого можно было бы и не писать, и так известно. Раз выдано из „Двух Чинаров“, значит, и член „Двух Чинаров“.

Больше чем упоминанию о членстве Сыдык-джан обрадовался тому, что в билете было написано: „Товарищ Сахибджанов“. Он взял билет, осторожно положил его за пазуху и, даже позабыв проститься с Ибрагимовым, чуть не бегом выскочил из землянки. Направляясь к дому, он, если на улице кто-нибудь показывался, шел солидно, неторопливо, если же на улице никого не было видно, бежал, будто маленький мальчик, и, шевеля губами, шептал: „Товарищ Сыдык-джан Сахибджанов! Товарищ Сахибджанов!“

Ждать до завтра у товарища Сахибджанова не хватило терпения и он решил отправиться в тот же день. Узнав об его решении, тетушка Анзират улыбнулась. „Бедный мальчик, соскучился по мамушке!“ — пошутила она и поспешила испечь на дорогу баурсаков.<sup>1</sup> Липо Канизьяк при этом известии почему-то подернулось грустью.

Сыдык-джан зашил деньги в подол рубахи, погрузил на лошадь приготовленные подарки, расцеловал в обе щеки сынишку и, поручив всех „милости алаха“, отправился в дорогу. Тетушка Анзират „на счастье“ провожать не пошла, до конца улицы его проводила Канизьяк. За руку она вела мальчика.

— Что ж, до свиданья теперь, — сказал Сыдык-джан, — до благополучной встречи!

— Хайр! Матушке вашей благословение передайте. Поцелуйте за меня Абиджана. Пусть приезжает. Когда вы вернетесь? Мы с тетушкой одни будем скучать.

— Да я и сам, наверное, долго не смогу задержаться...

Канизьяк взяла мальчика на руки.

— За Насиб-али не беспокойтесь!

Сыдык-джан хлестнул плеткой коня. До выезда на дорогу в Низину куги он несколько раз оборачивался и, наконец, поднявшись на холм, остановился и махнул рукой. Канизьяк тоже махнула рукой: „Возвращайтесь!“ — мол, и когда Сыдык-джан скрылся из глаз, направилась к дому.

— Отец твой уехал, кому же ты теперь будешь сыном? Мне сыном будешь? — спросила она Насиб-али.

Ребенок ничего не ответил, только крепко обнял ее за шею.

К о н е ц п е р в о й ч а с т и .

Перевел с узбекского Н. Ивашев.

<sup>1</sup> Баурсак — кусочки теста, испеченные на сале.

*В ФЕРГАНЕ*

На закате подход к ущелью  
Был туманом закутан глухо.  
Скреб туман на отвесах щели,  
Слушал их, принимая ухом.

Лес арчевый опутал гривой  
И вершины гор и карнизы.  
Я спускался на дно с обрыва.  
Лай собак доносился снизу.

Ночью я перед домом новым  
Соскочил с коня, постучался.  
Мне приветливей агронома  
Уж давно никто не встречался.

— Как осмотришься неторопко,  
Зажигаются звезды сердца.  
Вся долина в заносах хлопка,  
В жизнь, сынок мой, не наглядеться.

Вот что значит, сынок, трудиться,  
Труд и радость нам и награда.  
Поднеси-ка вина, сестрица,  
Из мускатного винограда!

Год от года страна богаче.  
Кишлаки еще краше стали.  
Стены клубов с резьбой на ганче,  
Возле клубов товарищ Сталин.

Поднял руку и смотрит зорко,  
С пьедесталов, с прищуром добрым.  
Алым цветом покроет зорька  
Всю шинель его утром бодрым.

А в горах-то!.. Подняться птицей, —  
Тесно в скалах руде железной,  
Днем и ночью в бока стучится  
Черный уголь, пластами врезан.

Дичь в арчевых бровях гнездится,  
Среди каменных троп-дорожек.  
Будь здорова, моя сестрица!  
Выйдем, путник, за край хороший!

И каналы несут дары нам,  
Шахты новые встали строим,  
А теперь у теснин Нарына  
Гидростанции будем строить.

Вот что значит, сынок, сплотиться  
Вокруг родины ненаглядной.  
Поднеси-ка вина, сестрица,  
Нам из красного винограда!

Говорил горячо, цветисто,  
И порадовать чтобы гостя —  
Осторожной рукой флейтиста  
Сжал дыхание флейты в горсть он.

Звук прыжком, и все выше, выше.  
Задрожал звук, запела флейта.  
Будто нет глинобитной крыши,  
Будто осень сменилась летом.

Зашумели вокруг деревья.  
И тепло и отрадно стало.  
За окном, над вершиной древней,  
Остро звездочка заблестала.

Утром ранним, пред домом новым,  
Он подвел коня, попрощался.  
Мне приветливей агронома  
Уж давно никто не встречался.

## ДЖЕЙЛЯУ

На джейляу табун. У горы на плече  
Показалась луна, посветлела трава.  
Где-то в камнях пел тонко нагорный ручей.  
Затихая, кузнечик во сне колдовал.  
Точно белые ветви в цвету, — облака.  
Алатоу вершина в снегу до бровей.  
Едет тихо табунщик, ласкает рука  
Золотистую лошадь горячих кровей.  
У киргизской княжны ярко-рыжая масть.  
Нервно вздрогнув всей кожей, давая дыбки,  
Лошадь выпуклым глазом косится, ярься,  
На мелькнувшие тени в кустах у реки.  
И когда в ночь табунщик осмотр завершил  
Табуна, было небо луной залито.  
Эх, как сладко б заснуть на виду у вершин  
На широкой, зеленой ладони плато.  
Как потянет от войлока в ночь кумысом,  
Остро, ярко заблещет звезды изумруд,  
И овчарке сквозь чуткий послышится сон:  
Мягко стукнут копыта в траве и замрут.  
Тишина. Только фырганье сытых коней  
Да ручей загрузил неизвестно о чем.  
А в предутренней роздыми крик: — Ой-е-ей!..  
Зябко вздрогнув, табунщик поводит плечом.  
Утро. Кони бегут. На реке водоной.  
И на стремя привстав, на другом берегу  
Смуглый всадник кричит, наклонясь над тропой:  
— Эй, джигит! Бе-ре-жешь та-бу-нок?.. — Бе-ре-гу!..

---



М. ШЕВЕРДИН

## „КАЧАЮЩИЙСЯ КАМЕНЬ“

Р а с с к а з

„Всякий, посеявший семена зла, надеясь собрать урожай выгоды, только открывает ворота своей гибели.“

Омар-Хайям.

В жизни каждого почти человека бывают обстоятельства необъяснимые и непонятные. Иной раз они так и остаются неразгаданными, а иногда через много лет какая-нибудь случайность проливает свет на то, что в прошлом казалось загадкой.

Недавно в одной старинной рукописной книге, купленной на базаре в Бухаре, было обнаружено письмо казиа Магиано-Фарабской волости Самаркандской области на имя самого кушбеги — премьер-министра Бухарского, датированное 1326 годом хиджры, т. е. 1919 г. по нашему исчислению. Случайно это письмо попало мне в руки, и при чтении его перед моими глазами вновь всплыли картины далекого прошлого: голубые ургутские горы, высокие перевалы, наш проводник и переводчик, мудрец и хитрец, бек без бекства Аллаярбек Даниярбеков, величественный, похожий на арабского шейха статистик Мирза Джалал и мельчайшие подробности жестокого случая, едва не стоившего жизни героям этого рассказа.

Вот что писал казий магиано-фарабский в Бухару своему другу и господину кушбеги:

„Величайший, могущественнейший, грознейший господин и кушбеги! Осыпанный вашими великими милостями, беднейший и самый смертный из ваших рабов и слуг, осмеливаюсь утомить ваше внимание этими корявыми и неблагозвучными писаниями. Но, да позволено мне льстить себя надеждой, что всякий порок, как только становится объектом лицезрения моего господина, превращается в добродетель. Славнейший, перехожу к предмету письма весьма огорчительному. Стих: „Хитрая птица попадает в силки обеими ногами“. Вы запрашивали нас, как наш друг, ловчайший и хитрейший из ференгов, попал в тень крыла Авраила?

А дело было так: накануне дня, когда львы пресветлейшего

эмира должны были ринуться через перевал Качающегося Камня в Ургут и Самарканд на ничего не подозревающих большевиков, ференг поехал самолично охотиться за нестоющим воробьем, и клюв ничтожной птицы оказался смертоноснее, нежели когти могучего, испытанного во многих трудных и неслыханных делах орла. Велико предопределение!

## I

„Мусульманский Восток — это сочетание добродетели и порока, гуманности и щепетильной честности, крайней степени плутовства и низости.“

Осторожно поскоблив шею там, где начиналась черная с красно-рыжими подпалинами борода, Аллаярбек Даниярбеков задумчиво проговорил:

— Свежий воздух гор полезен для здоровья, ледяная вода горных источников целительна для слабых желудков... Горы, воздух, вода? Нет ничего лучшего! Прощай, пыльный Ургут! О сын Даниярбека, ты счастлив, что едешь в горы.

Но черные с хитрецей глаза Аллаяра не выражали и намека на радость, даже на маленькое подобие радости. Тревожные тени, совсем не выжавшиеся со словами о счастье, метались в его глазах.

— О, горное гостеприимство! Едем! Я иду седлать своего Белка. Едем же с богом в страну скал и железобоких камней, на которые так больно падать. Едем, потому что мне надоели белые, тающие во рту лепешки и плов с бараниной и я хочу вкусить горный хлеб из ячменной муки с саманом толщиной в палец и вонючего мяса старого козла. Едем! Сын Даниярбека готов, конь его Белок готов, семья злосчастного готова пролить слезы.

Аллаярбек Даниярбеков величественно удалился.

— Погодите, Даниярбек! — остановил уходившего Мирза Джалал. — Позволительно спросить, — а вам известно, куда мы едем и на сколько времени?..

Повернувшись в полоборота, Аллаяр небрежно бросил:

— Пусть пупок мой прилипнет к спинному хребту, пусть кости моего Белка будут белеть на дне пропасти глубиной в семьсот семьдесят семь локтей, но раз ему не сидится в благоустроенном городе и не спится на мягкой постели, я еду, а куда, в какую еще страну Гога и Магога, это его касается...

И на этот раз он удалился совсем, оставив в большой михманхане с расписным потолком и высокими окнами Мирза Джалала и того, кого он пренебрежительно и вместе с тем подобоострастно называл в третьем лице — „он“.

Мирза Джалал — высокий человек с великолепной черной в завитках бородой и тонким орлиным носом — спокойно попивал из грубой глиняной пиалы чай. За письменным столом сидел над статистическими таблицами полный светловолосый юноша. Первым заговорил Мирза Джалал:

— Домулла<sup>1</sup>! Конечно, этот Даниярбек, несмотря на свой знатный титул „бек“, только простой неграмотный конюх, но... не прав ли он, когда предостерегает нас от поездки в горы? Да и что нам, мирным статистикам, делать в Фарабе, на самой границе с Бухарой? Да и вы, домулла... э... э... не мусульманин, подвергаете себя... в некотором роде опасности. Поручите розыски другому. Вы руководитель, начальник. Зачем вам ехать самому?

— Нет, мы едем. Мы найдем Александрова с его отрядом. Скоро месяц, как от него нет ни письма, ни весточки. Боюсь, не случилось ли с ними что-нибудь. Как сказал Аллаярбек, пусть даже прилипнет живот к позвонкам, но мы едем. И потом, мне давно хочется посмотреть „Качающийся Камень...“

— Ой бо! — сдавленный возглас прозвучал так неожиданно, что и Мирза Джалал и домулла сразу резко повернулись к дверям. Там стоял, согнувшись в почтительном полупоклоне, старик в белой чалме. Он наклонил голову, и лицо его было трудно рассмотреть, но седая борода, реденькая и клочковатая, топорщилась, а руки — морщинистые, со вздувшимися венами — дрожали.

— А, бек! — сказал Мирза Джалал, — пожалуйста.

— Еще один бек, — вполголоса пробормотал юноша.

— Позвольте, домулла, вот Абдужабар, сын бека ургутского... Он работает водостным статистиком и быть может знает, где сейчас проводит перепись наш отряд.

После утомительных, но обязательных приветствий гость уселся прямо на палас и, получив от Мирза Джалала непременно пиалу чая, заговорил о переписи, о трудностях, вызванных почти полным отсутствием грамотных людей в кишлаках. Он рад был помочь, чем мог, но и понятия не имел, где сейчас находится отряд.

— Вот народ у нас непонятливый. Не понимает, зачем перепись. Волнуются. А так, милостью бога, у нас все тихо. Правда, кое-кто из людей побогаче ушел за перевалы. Смешные, они побоялись переписчиков и даже угнали весь скот. А так все в порядке. Да вот в горах одного человека из комитета бедноты убили, милиция расследует. А так, бог мой, все тихо. Вы в горы собираетесь?

— Да. Думаю, что наш отряд в Фарабе. Мы очень беспокоимся.

— Хорошо, хорошо. Поедете через перевал Качающегося Камня? На той дороге неспокойно. Вот там этого большевика и... А что вы там хотите? Вы хотите посмотреть Камень? Но его надо смотреть с молитвой. Если человек с чистой совестью подъедет к этому камню величиной с дом и тронет его рукой, он закачается. А если у человека есть на душе грех, то камень будет недвижим, словно гора. А если человек забудет о молитве, камень сотрет его в порошок...

Старик начал уговаривать не ездить в Фараб: и дорога испорчена, и проводника трудно найти.

<sup>1</sup> Так узбеки и таджики почтительно называют образованного человека.

— Проводником будете вы, — резко оборвал причитания бекского сына домулла.

Абдужабар от неожиданности даже издал подобие стопа и забормотал что-то о тяжелых приступах болезни суставов, обессиливающих его организм, но тут же молниеносно изменил свое поведение. Сказав туманно: „Когда и к трусу подступат с ножом, он храбрецом делается“, старик залебезил:

— Произнесенного слова не проглотить. Сказал я — тяжело мне больному, но из уважения к вам поеду. Не обижайтесь, что так говорил. А теперь пожалуйста к отцу моему, пресветлому беку.

Стибаясь едва ли не до земли, он распахнул резные, тяжелые двери и пригласил пройти в парадную михман-хану бывшего ургутского бека.

Обширный, чистый двор, залитый утренним солнцем, лежал у самого подножия горы, скалистые уступы которой нависли над бекским домом, богатыми службами и конюшнями. Аллаяр Даниярбеков стоял около своего Белка со щеткой в руках и, задрав голову вверх, разглагольствовал перед группой ургутцев, одетых в живописные лохмотья. Те тоже вперили свои бороды в небо, стараясь разглядеть что-то на вершине горы, хотя ничего примечательного на первый взгляд там не было, если не считать крошечного квартала Ургута, непонятным образом повисшего в лазурной бездне.

— От великого ума ургутцы не знают куда деваться, — рассказывал Аллаяр. — Вот утром они встают, позевывают и говорят: „А зачем нам спускаться вниз, а потом подниматься вверх, тратить силы? Сегодня базарный день, нам надо продать испеченные нашими женами лепешки да сотканную за неделю мату. Давайте бросим все это вниз. Те, кому нужно, возьмут себе, а деньги положат в кошелек, который мы спустим на толстой нитке прямо со скалы на базар“. Ну, так и сделали...

— Ну и что? — спросил один из слушателей.

— А что? Они там и до сих пор сидят.

Все засмеялись.

— Хозяин, — тихо сказал Аллаяр домулле, когда Мирза Джалал с Абдужабаром прошли вперед. — Посмотрите вверх.

— Что ж мне на этих умников смотреть?

— Обязательно посмотрите.

В стеклах сильного бинокля на небе возникла вершина горы. Дома и сады стали ближе. На самом краю обрыва стояли люди и разглядывали город, раскинувшийся величественным амфитеатром в долине. Ничего удивительного не было, что те наверху смотрели на город. Картина была поистине прекрасна. Но почему эти любители красивых видов держали в руках бинокли, которые как-то не вазались с белыми чалмами и халатами?

— Что вы там увидели, домулла?

Рядом возник Абдужабар. Он тоже поднял вверх подслеповатые глазки, пытаясь разглядеть, что делается на вершине, но белые чалмы уже исчезли.

Домулла посмотрел на Абдужабара, на его лицо, покрывшееся тысячью любезных морщинок, на его злые глазки и пошел к воротам. На ходу, не оборачиваясь, он бросил небрежно:

— Хотел увидеть, как умные ургутцы лепешки вниз бросают.

— Что, что? — шепелявил Абдужабар, семена сзади мелкими шажками.

Не отвечая, домулла повернул голову и прислушался. Откуда-то издали, пересиливая шум восточного базара, доносилась лихая кавалерийская песня. В Ургут входила красноармейская часть.

## II

„В небе облачко, в душе трепет“.

1919 год. В двадцати километрах от Самарканда граница Бухарского эмирата, явно враждебного молодой Советской республике. Эмир занят усиленными военными приготовлениями и откровенно водит небескорыстную дружбу с афганцами. Из Бухары не вылезают британские „торговые“ миссии. Еще свежи в памяти бои туркестанской красной гвардии в Закаспии под Каахка с сипаями, которыми командовали офицеры его величества английского короля. В Фергане бесчинствуют басмачи, вооруженные винтовками с маркой „Мейд ин Инглад“...

Спокойно сияло солнце над зелеными чиварами Ургута, но очень неспокойно было на сердце Аллаяра. Он ожесточенно чистил жесткой щеткой белую шерсть своего коня и искоса поглядывал на вершину горы, не покажутся ли там снова чалмоносцы? Конь страшно боялся щеточки, не стоял на месте, выкручивался, пытался лягаться, и Аллаяр все свое плохое настроение срывал на п. м. с остервенением нажимая на особенно нежные места.

— Несчастный, ты недоволен, когда тебя лелеют и любят? Вот подожди, посмотришь, что будет дальше. Твой хозяин Аллаяр родился под звездой бедствия. Этот беспокойный домулла тащит нас с тобой, Белок, в самую пасть дракона с огненным дыханием. Земля не насыщается водой, волк — овцами, огонь — дровами, сердце мыслями, ухо — словами, глаз — виденным. Эх, домулла, сидел бы ты со своими цифрами за столом. Чего ты лезешь в седло! Нет, Белок, будешь ты возить на своей спине не сына Данияр-бека, а какого-нибудь настоящего бухарского бека, вот с эдаким брюхом... Нет, не поедем мы в горы. Не будем мы больше работать у этого беспокойного, поехали домой в Самарканд.

Парадные покои бека ургутского отличались суровой простотой, но в простоте этой была, как ни странно, восточная вычурность. Она сказывалась в строгих линиях деревянного потолка, собранного из круглых, очень тщательно пригнанных брусков дорогого не местного дерева, уложенных на некрашенные, но отполированные до зеркального блеска четырехугольные балки с тончайшей резьбой на концах. Стены серого неприветливого ганча были так тщательно оштукатурены, что на них нельзя было найти и намека на шероховатость, а две алебастровые, вделанные в стенные ниши

резные полочки были полными произведениями искусства. Строгих тонов шерстяной палас во всю комнату, темные шелковые одеяла и мягкие ястики завершали убранство михман-ханы.

Цель визита к беку была неясна и домулле, и Мирза Джалалу. Скорее всего хотелось удовлетворить праздное любопытство, посмотреть на столетнего старика, живого представителя феодальной горной Бухары, но невинная беседа с величественным старцем неожиданно-негаданно стала многозначительной, в особенности, когда бек от исторических воспоминаний перешел к современности. У него был ясный ум и верный глаз, но ум и глаз господина и владетеля душ и тел рабов.

— Крепость Ургут никому и никогда не покорялась. Ни воины Александра Македонского, ни китайских царей, ни диких начальников волеков — магулов, ни шахов персов идолопоклонников не ступали ногой по земле Ургута, а тем более слабые бухарцы, подхалимы и прихлебатели развратников эмиров не смели сюда показываться. И не напрасно ли ты, мой сын Абдужабар, ищешь правды у эмира?

Абдужабар мгновенно наклонился к уху бека и что-то быстро сказал. Но старец упрямо продолжал:

— При слове эмир ургутец всегда испытывал полноту отвращения, ибо он знал, что в Бухаре отец не мог защитить честь своей дочери, муж — честь своей жены, сын — честь своей матери. А на площади казней в Бухаре день и ночь палач стоит по колена в крови безвинных...

Глазки Абдужабара бегали. Ему явно не нравился оборот, который принял разговор, и он поспешил вмешаться:

— Они едут через перевал Качающегося Камня.

Тут наступила очередь взволноваться и самого старого бека. Он замолчал и долго разглядывал из-под ключеватых мохнатых бровей домуллу и Мирза Джалала. Взгляд его стал колючим.

После паузы, во время которой все почтительно молчали, он сухо начал:

— Что вам нужно у Качающегося Камня — святяни ургутцев? „Не шути с рекой, говорят, вода тебя уничтожит. Не шути с ходжей, он род твой уничтожит“, Ургутский ходжа не любит, когда его тревожат.

... Возвращаясь от старого бека обратно через двор, Мирза Джалал, искоса поглядев на Аллаяра, заметил:

— Не хотят все, чтобы мы ехали мимо Качающегося Камня.

— Вот потому-то и надо там побывать, боюсь, не случилось ли чего-нибудь с нашими людьми, — ответил домулла. — Надо ехать скорее. Предупредите Абдужабара, чтобы он собирался — выедем на рассвете.

Но Абдужабара ночью дома не оказалось, и пришлось двинуться в путь без проводника. Когда уже выехали с бекского двора и стали пробираться по улочкам города, Аллаяр ворчливо проговорил:

— И в глаз, который берегут, попадает сор, а который не берегут, тот очень даже просто может пропасть. Тут, наверно, за каждым углом целая шайка душегубов прачется. Нет, уж лучше вернуться. Вон как собаки отчаянно лают.

То ли собачий лай заглушил его слова, то ли товарищи Аллаяра привыкли к его воркотне, но все молча продолжали путь.

В лицо дул холодный ночной ветер. Высоко в небе, рядом со звездой, горел, подмигивая, красный огонек пастушьего костра.

### Ш

„Капля тревоги подобна яду, отравляющему море спокойствия“.

Рабгузи.

Утром даже у Аллаяра настроение улучшилось. Дорога оказалась неплохой. Ее, повидимому, недавно ремонтировали, расширяли и выравнивали.

— Какие все-таки горцы молодцы, — балагурил Аллаяр, — нас, наверно, поджидали, чтоб легче моему Белку было подниматься в гору.

— Подждать-то они кого-то поджидают, но вот кого? — заметил домулла.

— Кого же? — рассеянно переспросил Мирза Джалал. Он с недоумением рассматривал три крошечные юрты, стоявшие на дне ущелья, которое разверзлось прямо под всадниками на глубину по крайней мере в полверсты.

Заметив смущение Мирза Джалала, Аллаяр снисходительно бросил: „Высоко забрались, но полезем еще выше“, и хотел еще что-то прибавить, но вдруг так дико закричал: „Эй, эй!“, что лошади испуганно шархнулись. По серым выступам скалы, в стороне от дороги, торопливо пробирался, почти бежал человек в красной чалме. При окрике Аллаяра он метнулся в сторону, пытаясь, очевидно, нырнуть в какую-нибудь щель, но тут же спрыгнул на дорогу и пошел неторопливо навстречу всадникам. Одет он был так, как одеваются в горных кишлаках — в просторный чекмень из сукна козьей шерсти и в мукки — сапоги с мягкими подошвами.

— Кто вы? Куда вы едете? — не приветливо спросил он.

— Молодой человек, — возмущенно проговорил Мирза Джалал, — позволительно будет вам заметить, что вы при встрече с нами даже „ассаломалейкум“, как подобает вежливому человеку, не сказали, а, кроме того, не вы спрашиваете, а мы. Куда идет эта дорога?

— Не знаю. А вы куда едете?..

— Эй ты, любопытный! — вмешался Аллаяр. — Знаешь китайскую поговорку: „Чужих дел не касайся. Если спрашивают тебя, видел ли ты верблюда, отвечай „нет“. Ты с нами не встречался. Понял? Ну, иди своей дорогой.

Когда отъехали на порядочное расстояние, Аллаяр, будто между прочим, заметил:

— Он не горел.

— Почему?

— Ноги он ставит косолапо, лицо у него бледное, идет он и задыхается. Горец ноги ставит в разлет, лицо у горца обожжено ветрами дочерна, а если горец начинает задыхаться, три дня в горах не проживет. Этот встречный молодчик такой же горец, как та бабушка из нашей махалля, которая для того, чтобы свести влюбленных, льет из воска куклы, покрывает их одним платком вместо одеяла и которая...

— Во всяком случае, почтенный Аллаярбек, — перебил Мирза Джалал, — вы говорите не меньше, чем та самая старая сводня из вашей махалля... Но, домулла, не является ли эта встреча предостережением нам? Не вернуться ли нам? — Мирза Джалал вдруг насторожился — сзади донесся топот копыт.

По дороге ехал всадник. Он очень торопился, потемневшие от пота бока его лошади быстро вздымались и опускались.

Но тревога продолжалась недолго. Скоро стало ясно, что путников догоняет никто иной, как Абдужабар.

— Что же вы без меня уехали, — радостно ослабившись, заговорил он, — едва вас догнал, лошадь заморил. У нас беда в Ургуте. Пошли красноармейцы к верхним чинарам и стали в источнике пророка Ильи рыбу ловить, а на них дервиши из ханаки слепых набросились и одного убили. Тревожно стало в Ургуте и в горах... Главный ходжа-ишан в гневе — „кафиры осмелились попортить святыню источника“.

Мирза Джалал и Аллаяр переглянулись.

— Все посты пограничников остались за нашей спиной, — залепетал Аллаяр, — теперь впереди только божья воля и эмирские сарбазы да ширбачи.

— Едем, в пути разберемся, — сказал домулла, подгоняя коня. — Скажите, Абдужабар, когда произошло это достойное сожаления происшествие на священном источнике?

Абдужабар не ожидал такого вопроса. Он зашмыгал носом, как уличенный в проступке мальчишка, и начал так заикаться, что не мог выговорить ни слова.

— Посмотрите на него. Он потерял дар речи, — сказал домулла, — а почему? Да потому, что этой новостью его язык забеременел уже месяц назад, а понадобилось ему ею разрешиться только сейчас, чтобы найти новый повод не ехать нам к этому перевалу. И все же мы туда поедем и узнаем, что за тайна кроется там, которую не должны знать мы — скромные советские служащие...

Но самое удивительное, что никаких тайн на перевале не оказалось, во всяком случае на первый взгляд.

После тяжелого изнурительного подъема по отвесному скалистому обрыву на высшую точку перевала путники в изнеможении повалились в густую, в рост человека траву. Взоры всех были обращены на юг. В голубоватой дымке расстилалась широкая, вся покрытая светло-зелеными прямоугольниками пшеничных полей всхолмленная долина Фараба, а за ней вздымался могучим черным валом пограничный хребет. Дальше виднелись еще вершины, еще



хребты — синие, фиолетовые, лиловые — обширная и прекрасная горная страна, полная таинственного очарования. Далее, будто нарисованный смелым взмахом кисти художника-титана, врезался в синеву неба ослепительно белый, весь в броне из льда пик Хазрет Султана.

— Так вот что это такое, — с почтительным уважением, смешанным со страхом, проговорил Аллаяр, подойдя к огромной скале, одиноко возвышавшейся на самом гребне перевала.

Огромная глыба величиной с дом покоилась на другой каменной глыбе. В очень далекие времена ледник, спускавшийся с соседней вершины, очевидно, принес эти скалы и взгромоздил их одну на другую. Мирза Джалал подошел первый и, быстро пробормотав, „бисмилля“, тронул верхнюю глыбу. Недаром эта скала вызывала мистический ужас среди местного населения, — глыба в тысячу пудов весом явственно закачалась. Мирза Джалал даже несколько побледнел, капельки пота выступили на его лбу.

— Ну, будем считать, что грехов у нас нет... особо серьезных, — иронически протянул он. — Ну, а вы, домулла...

Без малейших усилий домулла проделал то же. Скала качалась.

— Ну, а теперь вы, Абдужабар-бек, — пригласил Мирза Джалал, — вам, с вашей чистой совестью, ничего не стоит столкнуть этот камешек одним пальцем.

Но Абдужабар отказался притронуться к качающемуся камню, сославшись на то, что нужно сначала помолиться. Аллаяр же поспешил заняться хозяйственными делами. Он начал собирать топливо и исчез за скалой. Тотчас же раздался его призывный возглас, настолько тревожный, что все поспешили к нему. Он стоял перед большой ямой, в которой был искусно сложен из хвороста, арчевых бревен и связок бурьяна огромный костер. Оставалось только поднести спичку, и гигантский столб дыма поднялся бы над перевалом.

— Вы чего кричали? — спросил Мирза Джалал. — Что, дров не видели?

— Нет. Тут я человека спугнул. Он как заяц вон по скалам прыгает. Я подошел, а он спит в яме. Перепугался и бежать. Вон, вон он!

— Что же он тут делал? И что это за топливо?

Не спеша подошел Абдужабар. Он посмотрел на яму, на далекие хребты и сказал невозмутимо:

— Горные люди очень предусмотрительны и гостеприимны. Что им за дело сейчас, среди лета, до незнакомых зимних путешественников, которые поедут через заваленный снегом перевал? А смотрите, как они заботятся о них.

— Одного я не пойму, — заявил домулла, — зачем они выбрали для склада топлива такое неудобное место. Зимним ветром не только костер, но и самих людей с гребня перевала снесет. Тут что-то не то. Это очень похоже на древний сигнальный костер. — Домулла стал разглядывать в бинокль склоны гор, словно пытаясь найти разгадку. Но все было тихо и спокойно вокруг — и сбегаю-

щая вниз по гребню дорога, и безлюдные склоны, и сама долина. Но теперь внимание домоллы невольно привлекла деталь, на которую он раньше не обратил внимания. Над долиной, над узкими ущельями, над скалами во многих местах поднимались дымки костров. Их были десятки. Особенно много было их над темным хребтом по ту сторону долины. Аллаяр тоже помрачневшим взглядом смотрел на дымки и, не обращаясь ни к кому, проговорил: „Ну, злосчастный, ты приближаешься к своему пределу“.

От прежнего покоя не осталось и следа. На душе у всех нарастала тяжесть, и она росла по мере того, как путники приближались к Фарабу, лежавшему на самом дне мрачной котловины.

#### IV

....Воздух этого селения не в ладах с моим здоровьем“.

Кишлак Фараб принес путешественникам немало разочарований. Здесь не было ни фруктовых деревьев, ни тенистых чинар, ни обильных виноградников, а росли только тощие ивы и низкорослые кустарники. Всего несколько часов езды от Ургута, а климат резко переменился. Несмотря на то, что был конец августа, хлеба в Фарабе только начинали колоситься. И дома выглядели здесь иначе, чем в долине Зеравшана, — наполовину вкопанные в землю, с толстыми стенами, с маленькими дверцами, в которые можно проникнуть лишь согнувшись в три погибели.

На улицах кишлака было оживленно. Среди дехкан, одетых в жалкие рубища, изможденных, иссушенных ветрами горных вершин, бросались в глаза здоровые, сытые бородачи, как правило, в белых кисейных чалмах, в добротных ватных халатах и щегольских лаковых сапогах. У многих из-под халатов виднелись пересекающие грудь крест на крест ремни. Перед глазами домоллы невольно возникли чалмоносцы с биноклями, — там, на вершине скалы, в Ургуте.

— Что сегодня базар, что ли, в Фарабе? — сам себя спросил Аллаяр и сам же себе ответил: — От такого базара никакой прибыли, кроме головной боли.

Бородачи смотрели на статистиков отчужденно и даже враждебно. Раза два до ушей Аллаяра донеслись негромкие слова: „Что они, сжечь свои души приехали?“ „Куда эти собаки забрались!“ Вид Аллаяра был самый беспечный, сидел он в своем деревянном узбекском седле как в уютном кресле, маленькая войлочная шапка была с некоторой лихостью сдвинута на бок, благодушная улыбка блуждала на губах. Но на душе у него было беспокойно. Подъехав ближе к домолле, он пробурчал:

— Сын Даниярбека не из тех, нрав которых жаждет шашлык из львиного бедра. В Фарабе очень воняет, не пора ли уносить отсюда ноги?..

Кавалькада въехала в массивные низкие ворота и очутилась во дворе казия фарабского. Хозяин, видимо, был кем-то предупрежден. Он приветливо встретил неожиданных гостей, сам держал под узд-

цы коней, суетился, кричал на слуг, распоряжался... Обширный, чисто выметенный двор, окруженный с трех сторон приземистыми кобышнями, рассчитанными на суровые зимы, заключался низким массивным зданием для приема гостей. Все было сделано добротно, слеplено из серой глины и необкатанных камней и поражало своей устойчивостью. Строили тут навечно, грубо и прочно, не заботясь о красоте и удобствах. Внутри михман-хана казия своими неровными законченными стенами и черным низким потолком больше походила на пещеру. Здесь не только жили люди. Тут же были свалены в углах вьюки, шерстяные мешки с зерном, сбура, земледельческие инструменты. Две двери со створками из грубых арчевых досок, выходящие прямо на террасу, заменяли окна. Над каждой дверью был проем в стене с грубой решеткой, заклеенной промасленной бумагой, сквозь которую в михман-хану проникал скудный свет. В жаркий день здесь было прохладно, но зимой, наверно, сыро и холодно.

Дастархан был уже расстелен на мохнатых кошмах и обильное, столь же тяжеловесное, как и весь дом, угощение ждало гостей. Хилый, с прозрачным лицом и шелковистой бородой глинышком старичок как-то не подходил к этому пещерному жилищу ни своим утонченным обликом, ни вежливым обращением. Он так настойчиво угощал, рассыпаясь в изощренных любезностях, что черствый ячменный хлеб казался мягким, жирные пирожки с луком и красным перцем нежными, влеклое, серое тесто бешбармака удобоваримым и вкусным. Старичок без конца говорил. Речь его изобилвала бесчисленными подробностями и орнаментальными украшениями, но гости скоро поняли, что из слов казия ничего узнать нельзя. На вопросы об исчезнувшем отряде он отвечал пространными предположениями, но ускользал, как вьюн, от разговора по существу.

Просидев за дастарханом часа два, домулла и Мирза Джалал узнали столько же, сколько им было известно в Самарканде, хотя казий через каждые два слова заверял в своей преданности советской власти и в горячем желании помочь переписи населения всеми своими знаниями и авторитетом среди дехканства.

— Разговор хозяина мне не нравится, очень сладкий, — заметил Мирза Джалал, когда хозяин вышел на минутку. — Он знает что-то, но помалкивает.

— А мне не нравится вон та газета, которую почтенный казий забыл убрать. Почему к такому другу советской власти, как наш хозяин, вдруг в Фараб попадает английская газета „Сивил энд милитери газет“, а?

И домулла развернул изрядно помятую потренированную газету.

— Вот он придет, я его спрошу...

Но осуществить свое намерение домулла не успел. В комнату быстро вошел с расстроенным лицом Аллаяр. Убедившись, что казия нет, он тихо сказал:

— На нашем дастархане черствый ячменный хлеб, а тут по соседству, в другой михманхане, белые молочные лепешки и все сладости мира. Мы сидим в конуре скотников, а там кашмир-

ские ковры и шелковые одеяла. Для кого, я спрашиваю? Каких гостей ждет любезный казий? И почему в дальней конюшне заседаны фэрэнгистскими седлами пять джиранкушей?

Домулла вскочил:

— А ну-ка, пойдём, посмотрим. Сейчас мы...

Кончить фразу он не успел. Со двора донесся оглушительный топот копыт и визгливые голоса.

## V

Благосклонность казия подобна вежливости кошки в обращении с мышью\*

Алишер Навои

Чувствуя надвигающуюся угрозу, даже нехрабрый человек инстинктивно стремится встретить ее лицом к лицу. И все бывшие в михман-хане кинулись из-под низкого давящего потолка к свету, во двор, не отдавая себе отчета в размерах и характере опасности, прямо ей навстречу...

Между айваном и воротами сгрудилось десятка полтора всадников. Некоторые из них слезали с лошадей, другие, сидя в седле, громко выкрикивали приказания слугам, суетившимся под ногами коней. Во двор казия въезжал отряд бухарских сарбазов...<sup>1</sup>

Несколько мгновений, показавшихся домулле вечностью, никто не был в состоянии произнести хоть слово.

Дикая визг „Красные! Красные!“ прорезал наступившую тишину. И дальше произошло нечто невероятное. С воплями, ревом, толкаясь, сшибая друг друга с седел, толча людей, солдаты эмира ринулись в ворота.

Еще немного, и во дворе стало тихо. На улице прогермел, удаляясь, топот многих лошадей, у ворот валялась оброненная винтовка.

Первым обрел способность двигаться и действовать Аллаяр. Он подбежал к воротам, запахнул створки и запер их на тяжелый засов, затем поднял винтовку и принес ее на айван.

— Английская, — кратко резюмировал события все еще бледный домулла.

Прибежал казий. Подбородок и губы у него дрожали. Бородавка тряслась, но он изо всех сил старался показать, что ничего не случилось.

— Пожалуйте, пожалуйте, — не заговорил, запер он и повел гостей на этот раз уже в роскошно убранную комнату с богатым дастарханом, — все приготовлено, дорогие гости. Прошу, прошу.

— Для кого это все приготовлено? — не выдержал Мирза Джалал при виде всего этого великолепия. Казий сделал вид, что не расслышал вопроса, и продолжал нараспев: „Прошу. Прошу“.

Но домулла и Мирза Джалал так и не приняли приглашения присесть. Они стояли посреди михманханы. С лица старичка-казия постепенно стиралась ласковая улыбка.

— Что происходит в Фарабе? — спросил Мирза Джалал. — Здесь хозяин эмир или советская власть?

<sup>1</sup> Сарбазы — солдаты.

Казий стал совсем серьезным:

— Вам здесь нельзя оставаться. Вы успеете засветло подняться на перевал. Через час-два будет поздно...

Не прощаясь, он вышел.

Когда все уже сидели на конях и ворота были открыты, казийский слуга — здоровый черный горец, подобравшись к самим всадникам и поправляя подпруги, — быстро сказал:

— В ворота не выезжайте. Там, на базарной площади, много вооруженных сарбазов. Они вас не выпустят.

— Куда же ехать?

— А я вас провожу.

Горец вывел статистиков через задний пустой двор и пролом в дувале на берег речки и дальше вверх по ее руслу. Когда пробирались густыми зарослями тальника, горец неожиданно засмеялся и сказал:

— Они трусили, они приняли вас за красноармейцев и с перепугу удрали со двора, как будто за ними гнались горные джины...

Помолчав, он добавил, отвечая, очевидно, на свои мысли:

— А казю не верьте. Он человек эмира. Но он хитрый, он не хочет, чтобы с вами что-нибудь случилось у него в михманхане. А вдруг советская власть сильнее...

Кишлак скрылся из глаз. Проводник протянул руку чуть левее белой шапки Хазрет Султана.

— Держите путь прямо. Увидите старый мазар, возьмите влево.

— А как мы попадем на перевал Качающегося Камня?

— Не пойдете. Там опасно. Эмирские сарбазы. Поезжайте на Магиан, там есть красные сарбазы.

— Что у вас происходит?

— Если скажу, казий прикажет отрезать мне голову. Уезжайте. Вы, большевики, для нас, бедняков, хорошие люди, и будьте поэтому живы. А у нас и разговаривать нельзя. Чуть слово скажешь — хватают. О большевиках даже заикнуться не дают — всюду подслушивают. С женой в постели ничего не скажи: у стен глаза есть, потолка уши имеют.

## VI

Зажги свечу и посмотри в лицо  
своей смерти\*.

Джалаледдин Руми

Горец не учел, что никто из троих путников дороги в Магиан не знал, а главная тропа разбивалась на склонах пологих холмов на десятки малых тропинок и дорожек. Получилось так, что к вечеру всадники карабкались среди скал и пропастей, выбившись из сил и потеряв всякую надежду найти дорогу в Магиан. Вернуться назад, они не смели. Оставалось гнать коней вперед.

Становилось холодно. В прорези черного ущелья выросла остроконечная громада снежного пика Хазрет Султана, порозовевшая в гаснущих лучах заходящего солнца. Тропинка переходила в уз-

кий балкон — овринг, прилепившийся к почти вертикально падающему в бездну боку скалы.

— Горец ничего не сказал об овринге, — растерянно заметил Мирза Джалал.

— Есть тут время думать, — почти грубо оборвал его домулла и легким движением уады заставил своего коня ступить на овринг.

— На овринге надо покричать, нет ли кого за поворстом, иначе не разъехаться, — запротестовал Аллаяр и, сложив ладони рупором, хотел уже крикнуть, что есть духу, но домулла резко остановил его:

— Ты что же? Хочешь разбудить горы и привлечь на наши головы бандитов эмира, когда у нас из оружия только старый пистолет?

Недаром опытные мусафиры — путешественники утверждают: „Нарушившие обычай гор попадут в беду“. Конечно, прав был многоопытный проводник и путешественник Аллаяр, но ведь путешествовал он раньше, когда мирно и тихо было в горах и долгом каждого вступающего на овринг было призывными возгласами определить, не находится ли впереди всадник или караван ослов. Тропинки, проложенные по головоломным балконам над пропастями, были подчас так узки, что разъехаться не было возможности. Нельзя было и повернуть назад. И тогда оставалось бросать жребий, кому жертвовать животными, и попросту сталкивать их в пропасть, чтобы дать возможность пройти людям. Но был прав и домулла, когда отказывался кричать. Горы стали враждебны, опасность могла подстергать на каждом шагу.

Овринг делался все уже. Местами на тропинке едва умещались копыта коней, а ноги всадника и плечо терлись с холодящим кровью скрипом о скалу. Далеко внизу в синих тенах, падавших от противоположной стороны ущелья, поблескивала вода медлительной речки, тихо струившейся по черным камням.

— По этому оврингу добрые люди не ходят, — ворчал Аллаяр. Он шел пешком, ведя своего Белка в поводу, под предлогом, что городская лошадь не привычна к горным крутизнам.

— Да, эта дорожка — вредная дорожка. Теперь я знаю, куда она ведет. Это дорога опиума и золота, индийского чая и всяких других воровских товаров из Бухары, из Афган, из Читрала. Если кого встретим из „добрых купцов“, не нужно тратить с ними времени на разговоры и просьбы...

— Что же надо делать? — прозвучал неуверенный голос Мирзы Джалала. Он тоже шел пешком и, видимо, изнемогал от усталости.

— Совершить отходную молитву и... — Аллаяр сказал это таким зловещим тоном, что не оставалось ни малейших сомнений, как нужно будет поступить дальше.

В этом месте ущелья было совсем темно, но впереди, в промежутке между отвесными мрачными утесами, виден был ярко освещенный зеленый склон пологой горы.

— Ну, конец мученьям! — радостный возглас домуллы застрял у него в гортани. Как раз на повороте тропинки, загоравшая про-

свет в скалах, выросла фигура всадника. С минуту конь точеными своими ногами, словно танцую, пагал, едва касаясь настила овринга.

И тотчас всадник остановился. Он был одет с нарочитой пышностью, мало вязавшейся с тяжелой горной дорогой и суровым пейзажем. Голову его венчала белая чалма, больше похожая на индусский тюрбан, с плеч ниспадал роскошный шелковый халат голубого цвета с пестрой отделкой, сапоги красного сафьяна упирались в позолоченные стремена. В сочетании с блестящей сбруей коня это была великолепная фигура из экзотической сказки. Но на домуллу и его спугников всадник произвел зловещее впечатление — из рамки пышных одежд на них с холодным любопытством смотрели зеленоватые равнодушные глаза на бледном лице с белесыми бровями и бородкой цвета соломы. Усмешечка искривила губы этого человека и он, не поворачивая головы, крикнул по-фарсидски показавшемуся из-за его спины новому всаднику:

— Я говорил, Синг, что они здесь!

Не сводя глаз с растерянного лица домуллы, он не торопясь начал передвигать маузер, одновременно расстегивая деревянную кобуру...

Внезапно лицо его исказилось гримасой, он нелепо взмахнул руками и вместе с конем сорвался с овринга вниз, в зияющий провал. Только тут до сознания домуллы дошел звук выстрела. Он с недоумением посмотрел на судорожно сжатый в руке старенький паган — домулла не помнил, как вынул пистолет, как выстрелил. Он перевел взгляд на дорогу. В нескольких шагах, почти на том же месте овринга, стоял другой, весь увешанный оружием, всадник, повидимому тот самый Синг, к которому только что обращался незнакомец.

Мгновенно подняв коня на задние ноги, Синг с непостижимой ловкостью повернул его вокруг оси и молниеносно исчез за скалой...

Молчание нарушил Аллаяр. Он провел руками по лицу и бородке и с чувством сказал:

— О-омины! — Губы у него прыгали. Щеки были мертвенно серые.

Мирза Джалал сидел на тропинке, закрыв лицо руками.

— Кровь, я вижу кровь, — шептал он.

Все еще дрожащим голосом, но с явным презрением Аллаяр процедил сквозь зубы:

— Хорошо, что не на своей груди...

Никто не решался посмотреть вниз, да едва ли можно было бы там что-нибудь разглядеть — дно ущелья погрузилось в сумрак и оттуда медленно поднимался ватными клочьями зеленоватый туман.

Понадобилось не мало времени, пока наши путники сообразили, что люди, сопровождавшие погибшего, могут перестрелять их на узком балконе, как куропаток. Но оказалось, что за поворотом скалы никого нет. На овринге и далее на широкой тропе, извивавшейся по пологой груди зеленой горы, было пустынно...

„Тот знает цену благополучию, кто испытал бедствия“.

С а а д и.

Дальше было бегство в полной тьме стремительно спустившейся южной ночи, среди нагромождений скал и камней по чуть белевшим тропинкам, по которым иной раз приходилось ползти на четвереньках, таща за собой на поводу упирающуюся лошадь. Раза два или три во тьме возникали огни костров, доносились чьи-то голоса, лай овчарок: тогда путники бросались в сторону, через тонувшие во мгле овраги и рытвины, чтобы не встретиться с людьми...

Вконец выбившиеся из сил, оступевшие, потерявшие всякое представление о времени, домулла и его спутники наверняка перевалили бы в темноте через отрог дышавшего холодом белого великана Хазрета и попали бы в лапы эмирских сарбазов, если бы не ночные пастухи. Они не только доброжелательно разъяснили, куда и как дальше ехать, но и откомандировали поднаска в качестве проводника.

Радостное, полное сияния утро застало неудачливых путешественников на спуске с Красного перевала в долину голубых рек — Магилан.

Природа ликовала и в мириадах благоухающих цветов альпийских пастбищ, и в звонком шуме хрустальных потоков, и в изумрудной зелени лесных дебрей на могучей горной громаде по ту сторону долины, и в лазоревых потоках, извивающихся во всех направлениях по обширной горной стране, лежавшей под ногами. И в душе путешественников тоже все цело и ликовало; воспоминания прошедшей ночи сразу потускнели и сгладились.

— Вон они! Вон они! — закричал в радостном возбуждении Аллаяр.

Навстречу, из маленького кишлачка, лежащего у подножья горы, бежали, размахивая белыми фуражками и платками, люди.

Это был отряд, который так бесплодно разыскивался домуллой в Фарабе.

\* \* \*

Из-под зеленого абажура падает свет на пожелтевший, с обтрепанными краями, лист пергаментной бумаги. Строки изящнейшего насталика, выведенные черной тушью, чуть поблекли, но они отлично читаются и воскрешают в памяти давно забытое.

Разъезд пограничников одним прыжком бросился тогда в долину Фараба, но ни казия, ни бухарцев там уже не оказалось. Тщательно обследовали и дно ущелья под оврингом. Однако ни тела рыжебородого, ни трупа лошади там не нашли, хотя прошло не более двадцати часов с момента неприятной встречи. Только следы запершейся крови на камнях говорили о том, что все рассказанное здесь случилось не во сне.



В письме же на имя кушбеги бухарского медоточивый казий писал:

„Достопочтимый, вам уже известно из дальнейшего и последующего, что поистине прискорбные обстоятельства столь неожиданной гибели господина ференга (никто да не появится в этом мире, как для того, чтобы стать достоянием могильной земли) поселили в сердцах готовившихся к подвигам гази — славных борцов за истинную веру — полное смятение и растерянность. Приведено в расстройство столь мудро задуманное предприятие. Сколько усилий и трудов было затрачено на приготовления: дорога через перевал Качающегося Камня расширена и выравнена для проезда пушек; провиант и скот приготовлены; патроны и все необходимое подвезено. Прибытие же после события на другой день со стороны Магиана кзыл-аскеров встревожило сердца доблестных начальников и они сочли за благо отложить поход и поспешно направить свои стопы со своими войсками обратно в Шахрисабз, уповав на то, что мудрость эмира вселенной и вислопосланных нам Богом друзей-ференгов предоставит в недалеком будущем более удачный случай вернуть под знамя истинной веры земли Самарканда и Катта-Кургана, искони принадлежавшие эмирскому престолу.

В тот же день мы послали верных людей предупредить стражей на перевале Качающегося Камня о случившемся, дабы они зажиганием сигнальных костров не вызвали преждевременно напрасных поступков, могущих повести к бесцельному пролитию крови мусульман. В Самарканд, Ургут, Кара-Тюбе и прочие места, где нас ожидали готовые к подвигу за веру, посланы письма с Абдужабарбеком. Неловкий, во многом он явился причиной нашей неудачи, не сумел остановить этих большевиков от поездки в Фараб в столь неподходящее для наших замыслов время и своими беспотколковыми рассказами заставил нас и господина ференга подумать, что этот домудла является злокозненным шпионом и разведчиком, подосланным разведать о наших намерениях.

Бранные же останки господина ференга, обернутые в кошму, доставлены в Шахрисабз, уложены по богопротивному обычаю собак-неверных в гроб, сделанный из досок, и отправлены по приказу приближенных господина в город Балх к британскому консулу с изъявлениями наших сожалений и печали. Оружие, бумаги и географические карты, оказавшиеся в хурджунах ференга, направляю вам.

Провидения пути неисповедимы. Как? Человек, державший неоднократно в руках своих судьбы тысяч прославленных мусульманских воинов Мирса, Арабистана, Шама, Турции и страны патанов и слово которого значило иной раз больше, чем слово могучего владыки, пал от слабой руки безвестного.

Стих: „Если счастье повернет цепь событий, то и муравей станет батыром“.

СЕРГЕЙ ДАНИЛОВ

## ИЗ ИРАНСКИХ СТИХОВ

### *Большой хозяин*

Мы ждали с нетерпением Гаудан,  
В чужую землю, в чуждый мир ворота.  
В двух километрах был от нас Иран,  
И первый городок за поворотом.  
Шоссе спускалось словно в мертвый ров,  
Отрогами придавленное справа.  
Нас встретил старший лейтенант Петров —  
Большой хозяин маленькой заставы.  
Он расспросил нас, как добрались мы,  
Здоровы ль мы и как в пути питались...  
У стыков света и бездонной тьмы  
С хозяином тепло мы попрощались.  
Вдали мерцал холодный огонек.  
Мы подтянулись... Строже стали лица.  
Нас пропустив, хозяин на замок  
Опять закрыл шлагбаум на границе.  
Мы в мир вошли иных вещей и дел,  
В мир рабства, нищеты и гнета,  
Где нищий жадно на кусок глядел,  
Где безработный тщетно ждал работы.  
Проехав сотни сел и городов,  
Мы всюду видели убогие жилища.  
Мы видели измученных рабов  
И еле шедших изможденных нищих.  
Я видел в кандалы закованных людей,  
Но не было покорности в их взглядах,  
Коль разобьют они гнет тюрем и цепей,  
То недругам не ждать от них пощады.

Мы с радостью встречали Гаудан,  
В родную землю милые ворота.

Остался позади измученный Иран,  
Знакомый городок за поворотом.  
Родных селений яркий огонек  
Блеснул, как в небе алая зарница.  
Вернулись мы, и снова на замок  
Закрыв хозяин строгую границу.

\* \* \*

„Ну, а этой за движенье стана,  
Что лицом похожа на зарю,  
Подарю я шаль из Хоросана  
И ковер ширазский подарю“.

\* \* \*

„Шаганэ ты моя, Шаганэ!“

Сергей Есенин  
„Персидские мотивы“.

Был я в Бендер-Шахе, Руде-Соре,  
Весь Иран извездил на коне.  
Выходил гулять на берег моря,  
Чтоб тебя увидеть, Шаганэ.  
Передать привет от наших женщин,  
Пару слов сказать наедине.  
Исходил я сотни верст, не меньше,  
Но нигде не встретил Шаганэ.  
Я прошел от Решта до Шираза,  
От Тебриза до хребтов Шуру,  
Я не видел женских лиц ни разу,  
Только видел черную чадру.  
На базарах женщины, как тени,  
Ходят молча, проклиная рок,  
Падают на хилые колени,  
Чтобы черствый вымолить кусок.  
У других глаза, как страшный омут,  
Шелком перетянут гибкий стан.  
Эти ходят, чтоб продать любому  
Молодое тело за туман.  
Не нашел я даже в день весенний  
Девушки веселой в Мианэ.  
Я не знаю, где Сергей Есенин,  
Встретил персианку Шаганэ?  
Был я в Бендер-Шахе, Руде-Соре,  
На берегах зеленых Гавханэ.  
Видел слез бушующее море,  
Но нигде не встретил Шаганэ.

## ФЕРГАНСКИЕ НОВЕЛЛЫ

### СЫНОВЬЯ

Утром старая Халида почувствовала себя лучше. Меньше болели ноги и спина, не кружилась голова, как вчера, как несколько дней назад.

Когда Юлдаш, перед тем как уйти в поле, осторожно переступая на цыпочках, приблизился к ее постели и подал лепешку да немного сюэзмы, она отрицательно покачала головой и сказала, что сегодня сядет с ним за общий дастархан. Юлдаш с облегчением вздохнул, — все эти дни у него цемило сердце — беспокоился, как бы совсем не потерять мать.

— О, она! — проговорил он, помогая матери встать, не зная, как еще можно выразить охватившее его радостное чувство.

Они вместе поднялись на балхану и сели у разостланного платка, на котором стояли подносы с сушеным урюком, лепешками и кишмишем. Завтракая, старушка с удовлетворением отмечала, что в саду подметены дорожки, под виноградником поставлены подпорки и, довольная, прислушивалась к тихому шороху листвы и щебетанью птиц.

Розоватые солнечные лучи упали на землю, заиграли на винограднике, на перилах балханы. Юлдаш медленно поднялся и взял в руки стоявший в углу тяжелый кетмень.

— Пойду, — коротко проговорил он.

— Да, торспись, — подтвердила мать, глядя на крепкую фигуру сына и думая, что получился из него добрый кетменщик.

Когда Юлдаш вышел, Халида встала и пошла в дальнюю комнату, в которой когда-то жил ее старший сын Махмуд. Он был призван в армию осенью сорок первого года, а в сорок втором мать получила извещение, что он погиб смертью храбрых где-то в подмосковных лесах.

В комнате все было как при Махмуде. На этажерке лежали сложенные стопкой книги, на стене висел дутар, у порога на низенькой табуреточке лежала щетка, которой он, торопясь в военкомат,

обмахнул пыль с сапог. На столике белели сложенные в треугольнике его письма с фронта и в верхнем из них — старушка знала — неровными буквами было написано: „Работайте каждый за двоих, а мы уже здесь не пощадим жизни для разгрома врага“.

Прислонившись к косяку, Халида долго молча стояла в дверях. Постепенно, заглушая материнскую тоску, ее все больше наполняло чувство гордости за старшего сына, честно выполнившего свой долг перед Родиной. Потом мысль незаметно перенеслась на Юлдаша, на его колхозные дела, и она внезапно заторопилась, решив приготовить плов и отнести ему в поле обед.

Тем временем Юлдаш, забросив кетмень за плечо, шагал вдоль дувала к хлопковым полям. На краю кшплака его кто-то окликнул, и, обернувшись, он увидел старого кетменщика Азиза Самандарова, с которым весной подписал договор на соревнование.

Азиз, сгорбившись, стоял около своей кибитки, одна щека его была перевязана толстым синим платком. Поздоровавшись с ним, Юлдаш спросил, что случилось, а кетменщик, болезненно сморщившись, указал на щеку.

— Зуб... Всю ночь не спал... Сегодня уже решил отлежаться, отдохнуть.

— Ничего, бывает, — подбодрил его Юлдаш, — через день — два пройдет...

Пожелав кетменщику быстрого выздоровления, он спустился в ложину и увидел, что арык, идущий к его приусадебному участку, засеянному кукурузой, полон воды. Как-то само собой подумалось о том, что его соперник сегодня все равно работать не будет — значит не сможет его обогнать и ему, следовательно, тоже можно не выйти в поле, а, воспользовавшись водой, заняться поливом своего участка.

Не доходя до хлопковых полей, Юлдаш круто свернул в сторону и большими быстрыми шагами направился к своему участку. Когда он дошел до места, солнце уже лило на землю жгучий поток лучей и, сбросив халат, Юлдаш залез по колено в воду, разрывая кетменем берег арыка и направляя в густую зеленую поросль кукурузы быструю струю воды.

Смахаясь с лица обильный пот, Юлдаш трудился, забыв о времени, и опомнился только, когда уж день стал клониться к вечеру и в воздухе, кружась, зазвенели комары. Почувствовав голод, он решил пойти домой, а по пути ему захотелось заглянуть на хлопковое поле. Он знал, что звено в это время уже закончило работу и, следовательно, ему нечего было остерегаться встречи с товарищами и упреков их.

Еще с весны в звено за каждым кетменщиком были закреплены определенные рядки посевов, и сейчас небольшой участок его соперника Азиза Самандарова имел довольно жалкий вид. Серая плодная земля во многих местах потрескалась, тоненькие растения беспомощно повисли. Юлдашу захотелось поскорее взглянуть на закрепленные за ним рядки и, раздвинув кусты шелковицы, он удивленно остановился, протер глаза.

Весь его участок был глубоко и дробно окучен, кустики хлопчатника, сочно зеленея, бодро тянулись вверх, от взрыхленной земли тянул влагов. Юлдаш еще раз проверил, действительно ли это его рядки и, убедившись, что точно его, почувствовал какую-то незнакомую раньше внутреннюю неловкость.

Возвращаясь домой, он еще издали заметил, что калитка, ведущая во двор, распахнута, а рядом, близ тощей акации, стоит запряженная в двуколку рыжая лошадь. Недоумевая, кто бы это мог приехать, он вошел в дом и увидел склонившихся над кроватью матери незнакомых людей в белых халатах.

„Да ведь это, должно быть, врачи“, — подумал он и, почувствовав страшное беспокойство, шагнул вперед. Но ему загородил дорогу незнакомый пожилой человек в очках и укоризненно покачал головой.

— Старая женщина... Большое сердце. А она еще окучивала хлопок. Нехорошо... нехорошо!..

Юлдаш вспомнил взрыхленные рядки своего участка и вдруг все понял. В замешательстве он попытался назад к двери, ведущей в комнату Махмуда, но Халида, бледная, тяжело дыша, оставила его повелительным возгласом:

— Не смей... туда... Он жизнь отдал, а ты обманул колхоз.

— Но ведь я был на своем участке, — струдом проговорил Юлдаш.

— Участки есть у всех... Но кто работал на них целый день, кроме тебя?.. Позор...

— Правда... Но это у меня сегодня первый раз...

— Врешь... Земля была как кремень!

Юлдаш вдруг выпрямился и по лицу его было видно, что он принял какое-то решение. Взяв кетмень, он вышел на улицу и зашагал к полям.

„Как кремень“ — какое подходящее слово. Именно такая земля сейчас на рядках заболевшего Авиза, а ведь урожай с них пойдет в одни закрома. О, Юлдаш понимает это, он не хуже других! И дойдя до поля, он с большим усердием прицелился за окучку рядков Авиза Самандарова, хотя день уже погас и на высоком весеннем небе выплыла яркая полная луна.

## ГОРШЕЧНИК ИГАМ

По пятилетнему плану нашего колхоза „Кзыл кетмень“ было решено построить в кишлаке новый клуб. Здание его мы хотели отделать как можно лучше и написали в районный центр письмо с просьбой прислать нам опытного инженера. Но оттуда ответили, что стандартный проект здания уже имеется и с постройкой может управиться обыкновенный прораб.

Такой ответ очень обидел председателя колхоза Искандера Ибрагимова. Выбрав свободное время, он надел свою старую по-

ходную шинель и поехал на колхозной автомашине в Ташкент. Там его встретили приветливо и он возвратился назад возбужденный и радостный.

— Приедет к нам самый лучший архитектор. Осмотрит местность и сам составит проект.

Это известие обрадовало жителей кишлака. Все стали ждать с нетерпением приезда именитого гостя и готовиться к началу строительных работ. На место постройки привезли кирпич, цемент, доски для полов, а чтобы все это было в целости и сохранности, решили выделить караульщика.

Обязанности караульщика добровольно принял на себя Хасан-бобо Хамраев — сторбленый, худощавый старик с большой лысой головой. Он пришел сюда несколько лет назад из далекого горного кишлака, вступил в члены колхоза, работал всегда исправно и отличался тем, что носил на пепочке прицепленный к поясу небольшой чилим, спрятанный в старый тряпичный чехол.

И вот однажды осенним утром из районного центра примчался на мотоцикле тонец и сообщил, что с ночным поездом приехал архитектор. Сейчас он беседует в райисполкоме, через час — другой будет здесь.

Колхоз давно закончил уборку хлопка, был как раз праздничный день, и это известие быстро облетело кишлак. Люди стали группами и в одиночку сходить на строительную площадку, чтобы всем вместе встретить приезжего, а Искандер Ибрагимов распорядился сложить очаг и сварить в большом казане душистый плов.

Хасан-бобо Хамраев, сложив ноги калачиком, сидел на штабеле кирпича и задумчиво поглядывал на собиравшихся людей. Потом чуть прикрыл глаза и громко, как все глухие, проговорил:

— Сейчас высоко пенят хороших мастеров, а раньше, дети мои, было совсем не так...

— А как же было раньше? — подмигивая собравшимся, спросил Искандер Ибрагимов.

Старик не торопясь положил под язык щепотку зеленого чая и медленно заговорил. Передние придвинулись ближе, задние заняли их места, и в наступившей тишине вновь звячучал голос старика.

Вот как выглядел его рассказ:

Это было очень давно, в маленьком кишлаке, по ту сторону снеговых гор, что белеют вдаль. На буром песчаном холме лежало несколько глинобитных домишек с плоскими крышами, торчала сухая, корявая арча, да темнело несколько одиноких могил — вот и все.

Жители кишлака были горшечниками. Работая без устали, они делали из глины миски, кумганы, горшки, продавали их в соседний кишлак богатому куцу Исмаил-бию и всегда были в долгах. Исмаил-бий отвозил на верблюдах дешево купленный товар в священную Бузару, выгодно сбывал его там и пребывал в достатке и благоденствии.

Хасан-бобо был тогда намного моложе и умел хорошо делать горшки. Он обучил своему ремеслу многих учеников, но особенно прилежен был один из них — сирота Игам.

Этот юноша быстрее других постиг в совершенстве гончарное мастерство, и все было бы ничего, если бы не появилась у него необыкновенная страсть к красивому.

Работая, он отделывал горшки тонкой резьбой, причудливо выгибал ручки или делал стенки такими тонкими, что после обжигания через них просвечивали солнечные лучи. Вот и получилось, что в то время, как другие успевали сделать по полдюжине вещей, Игам едва управлялся с одной, но Хасан-бобо не ругал ученика, невольно любясь красотой его изделий.

Но одно дело — горшечник Хасан, а другое — купец Исмаил-бий. Посмотрев однажды на работу юноши, он презрительно усмехнулся и, оправив шелковый халат, надменно проговорил:

— Такие вещи не довезешь до Бухары... А коли довезешь, то вряд ли выгодно продашь их. Правовверные темны и не богаты, им нужны вещи попроще... Если за простой горшок я плачу по четыре таньга, то за твой довольно и одного...

Игаму было тяжело жить. Он сказал Исмаил-бию, что будет работать как другие, и занял у него денег в долг. Но стоило ему взять кусок глины и пустить колесо станка, как руки сами вместо обыкновенного горшка вылепливали стройную вазу с тонкими чудесными изгибами.

Хасан-бобо Хамраев замолчал, выплюнул насвай и разгладил усы.

В это время невдалеке, около правления колхоза, остановилась легковая автомашина и из нее вышел высокий незнакомый человек в шляпе, в синем европейском костюме, с орденской ленточкой на груди. Все сразу догадались, что это, должно быть, и есть архитектор. Многие привстали со своих мест, но гость, подняв ладонь, знаком показал, чтобы люди продолжали сидеть на своих местах. Он подошел к собравшимся, сел на ковшу и о чем-то тихо стал разговаривать с председателем колхоза.

— Однажды Игаму сообщили, — так же негромко, чтобы не мешать разговору гостя с председателем, — продолжал рассказывать Хасан-бобо, — что его вызывает Исмаил-бий. Но Игам не пошел к нему. Тогда купец сам вместе со своими слугами приехал к молодому горшечнику и, увидев вазы вместо горшков, потребовал, чтобы тот сейчас же вернул ему долг.

Исмаил-бий кричал, топал ногами, а Игам стоял бледный, потупив глаза и закусив губу. Потом шагнул вперед и дрожащим голосом проговорил:

— О! Исмаил-бий, повремени немного. Мне помогут товарищи и я расплачусь с тобою...

— Наглец, — закричал Исмаил-бий и ударом камчи сшиб с полки несколько ваз.

Игам бросился на купца, но подбежали барские слуги, скрутили ему назад руки и уехали.



— Это еще не все, — пригрозил перед отъездом бай, — завтра пожалуюсь уряднику и запрячу тебя в Сибирь...

Ночью к Хасан-бобо постучали. Он открыл дверь и увидел: стоит Игам с мешком за плечами и держит что-то в руках.

— Я уйду, а это возьми себе, — сказал он Хасану и протянул ему сверток. — Прощай...

Старик тяжело вздохнул и опять немного помолчал.

— Больше я его не видел... А в свертке была эта вещь.

Он отстегнул от пояса чилим, вынул его из чехла и поднял высоко вверх. Все увидели, как засветились на солнце его тонкие овальные стенки, мелкими узорами заестрела резьба и отчетливо выделились выпуклые очертания ущербленного месяца с мелкими звездами по краям.

— И это из простой глины, — с восхищением сказал старик. — Жаль, что этого мастера я не увижу вновь...

И тут произошел случай, о котором долго будут помнить в кишлаке.

— Он здесь, — слышался позади Хасан-бобо твердый незнакомый голос и приезжий, улыбаясь, подвинулся во весь рост и снял шляпу.

## СОСЕДИ

Осенним утром председатель колхоза „Социализм“ Рахимберды Ташбаев узнал от знакомого человека, что с часа на час к нему должен приехать председатель соседней сельхозартели „Янги-Куч“ Акбар Аvezов, чтобы позаимствовать до весны хлеба и овощей. Посоветовавшись с членами правления, Ташбаев вызвал амбарчи Назарова и, рассказав ему об услышанном, предложил:

— Нагрузи в нашу полуторку с полтоном пшеницы и центнера четыре картофеля. Как только Аvezов придет, я дам тебе знать, и ты подъедешь к воротам моего дома.

Амбарчи Назаров — худощавый пожилой человек в черном ватном халате — понимающе взглянул на председателя, но уходить не спешил.

— Что еще? — теребя черный с проседью ус на круглом загорелом лице, спросил Ташбаев.

— Это ясно, — улыбаясь уголками губ, проговорил амбарчи. — Но возвратят ли они долг весной? Колхоз у них уж очень слаб... Вряд ли они быстро поправят свои дела.

Ташбаев покачал головой и, с шумом поднявшись из-за стола, вплотную подошел к Назарову.

— Наш колхоз миллионер?

— Миллионер...

— А если мы соседу не поможем, разве он поправит свои дела быстрее?..

— Я этого не говорю...

— Так-то вот, — заключил Ташбаев, отходя в сторону. — Иди, действуй.

Ташбаев запер стол и тоже вышел на улицу. Ночью прошел сильный дождь с ветром, сбил с деревьев много желтого листа, и председатель порадовался тому, что до начала ненастья успел собрать весь хлопок с полей и теперь осталось только очистить курак да закончить зябь.

Акбар Аvezов приехал верхом на тощей гнедой лошаденке. Спешившись, он привязал ее за тутовое дерево и, заметив плотную фигуру Ташбаева, отвесил ему низкий поклон.

— Сялям алейкум, — по старому обычаю любезно приветствовал он Ташбаева. — Как ваше здоровье? Здоровы ли ваши дети? Хорошо ли чувствует себя ваша жена?

— Рахмат, рахмат, — отвечал тот и в свою очередь осведомился, как здоровье и дела дорогого гостя.

Вслед за хозяином гость прошел в дом. Сняв в дверях галоши, он сел на мягкое одеяло и сунул ноги в горячий сандал. Хозяин предупредительно пододвинул ему под локоть цветистую подушку, чтобы можно было прилечь, и вышел на айвак, откуда доносился треск горящих сучьев в очаге и шипенье кипящего масла.

Аvezов оглянулся, осматривая обстановку. Пол в комнате застлан был красным ковром, в белых нишах стопками лежали разноцветные ватные одеяла, а в стороне стояла новая никелированная кровать.

Ташбаев вошел с подносом, на котором лежали лепешки, кишмиш, орехи, миндаль. Потом появилась миска с пловом и бутылка виноградного вина. Гость заметно оживился и, потирая руки, проговорил:

— Хорошо живете, Рахимберды-ака. У вас высокие урожаи, большой доход...

И, принявшись за плов, он начал длинно рассказывать о том, как этой весной ездил в районный центр, просил выдать минеральные удобрения сверх нормы, но ему отказали.

Ташбаев качал головой в такт его словам и вдруг проговорил:

— А мне предлагали больше минеральных удобрений, но я отказался...

Аvezов удивленно вскинул брови:

— О! Что вы говорите... Почему же?..

— Да ведь это же за счет других, а я так понимаю: нужно, чтобы везде был хороший урожай.

Гость почему-то смутился. Хозяин, будто не замечая его смущения, пододвинул ему миску с пловом и продолжал:

— Мы всю зиму собирали местные удобрения во дворах колхозников. У вас делали так?

Аvezов смутился еще больше и промолчал. Доедая плов, он заговорил о плохой погоде, о том, что осень наступила рано. Ташбаев с нетерпением ждал, когда же наконец гость скажет о цели своего приезда.

— А еще, Рахимб рды-ака,— заметно волнуясь, вдруг проговорил Авезов,— есть у меня к вам одно дело...

— Слушаю вас,— насторожился Ташбаев, отыскивая глазами кого-нибудь из домашних, чтобы послать его на склад к амбарчи. Авезов вытер полотенцем блестящие от масла руки и, собравшись с духом, проговорил:

— Хочу у вас занять килограммов триста картофеля и джугары.

На широком лице Ташбаева отразилось недоумение. Он поджал нижнюю губу, усы поползли вниз.

— Почему же так... мало?

— А у меня небольшая семья.

— А-а,— разочарованно и с пренебрежением протянул Ташбаев, поднимаясь из-за сандала.— Тогда извините, не могу...

— Почему?..

— Так... Не могу...

Гость порывисто встал и начал торопливо надевать галоши. Неловко кивнув, он вышел из дома.

Ташбаев проводил его глазами и через огороды напрямик направился на склад. Увидев нагруженную мешками машину и изрядно продрогшего амбарчи Назарова, он сурово и тихо сказал:

— Сгружай обратно! Я думал, он о колхозниках своих беспокоится, а он только о себе. Сгружай!

## ФАРХАДСКАЯ ВЕСНА

Не знойным солнцем даль озарена,  
Моя душа земным огнем согрета.  
Мне радостна фархадская весна —  
Весна труда и золотого света.

Скользит потоком медленным вода  
По мраморной груди литой плотины,  
Заговорили лопасти турбины,  
И резвый ток рванулся в провода.

А было так: под зарево костров  
Сходились люди у скалы Фархада.  
Ревел буран на тысячу ладов,  
Как он ревел в траншеях Сталинграда.

Земля — что лед — колюча и груба...  
Но разве душу заморозить льдами,  
Когда в груди уже не лед, а пламя,  
И плотью жизни сделалась борьба!

Вставали глыбы камня на дыбы  
И оглашали берег тажким стоном.  
А люди строили уже понтоны,  
Вколачивали в дно реки столбы.

А люди побросали пиджаки,  
Ломали лед горячими руками,  
Хватали неподатливые камни,  
Швыряли в пасть клокочущей реки.

Ревет река, и мечется над ней  
Безумный ветер с клетотом и визгом,  
В лицо бросает ледяные брызги.  
Ревет река... Но — человек сильнее.

Уже назад отброшена волна.  
Уже бессильна гневная пучина:  
Над ней, что в связке, выросла стена —  
Простое чудо — гордая плотина.

Метнулся от плотины водный шевал.  
Луна тонула гривенником тусклым...  
Свергаясь вниз, уже над новым руслом  
Звенел и пел могучий светлый вал.

А люди шли и шли в степную даль  
С лопатами, с ломами, с топорами;  
Над пустырями обнажали сталь,  
Сплеча рубили землю кетменами.

И не было мороза в холодах,  
И ледяная вьюга не страшила:  
Здесь кровь кипела и гудела в жилах,  
Как ток гудит в горячих проводах.

\*

Звени, река, как песнь земли, звени.  
Запой о том, как сердце человека  
Зажгло во тьме бессмертные огни —  
Огни стального ленинского века.

*Ноябрь 1947 г.*

А. КАНАЕВ

## РОВЕСНИК ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

О черк

Когда к Исаметдину Арабову вернулось сознание, у предместий Моздока еще шел бой.

Исаметдин лежал на боку. Грудь упиралась в ложе автомата. В правой ноге Арабов чувствовал острую боль. Он попытался приподняться, но боль стала невыносимой. Из груди вырвался невольный стон. На лбу выступила холодная испарина. Исаметдин снова потерял сознание.

Очнулся он на носилках. Его несли два санитары. Тот, который шел сзади, увидев открытые глаза Арабова, сказал:

— Ну, браток, очухался? Значит, живем... Кто? Татарин или казах?

— Узбек, — прошептал Арабов.

— Ну и хорошо. Значит, тоже наш. За свои раны с фрицами будешь особый разговор вести. Они автоматчиков не любят. Ну, лежи, лежи. До санбата теперь недалеко осталось...

Больше четырнадцати месяцев пролежал Арабов в госпитале в Орджоникидзе и в Баку. Семь раз побывал на операционном столе. И никогда, никому он не жаловался на боль. Если было невыносимо, Исаметдин стискивал зубы и закрывал глаза. Врачи и сестры удивлялись его выносливости и терпению.

В палате Арабов редко с кем разговаривал. Соседи по койке объясняли его молчаливость тем, что он плохо владел русским языком. Однако Исаметдин не часто вступал в разговоры даже и с бойцами-узбеками, находившимися в одной с ним палате. На вопросы же Арабов отвечал всегда с мягкой улыбкой, не повышая голоса.

„Серьезный и обходительный парень“ — говорили о нем.

Арабов жил воспоминаниями. В его памяти возникали груды развалин, пепел пожарищ, убитые немцами советские люди. В эти минуты на его лицо ложились суровые складки.

Но чаще всего Арабов видел кишлак, в котором он родился, провел детство и юность.

Кишлак Чуама... Узкие улицы, обсаженные тутом и тополями. Кудрявая зелень виноградников и садов, поля с расцветающим хлопчатником и изумительное угреннее солнце с ослепительно яркими лучами, проникающими всюду и всюду пробуждающими жизнь... Дорогие черты матери, братьев...

Однажды Арабов спросил врача, когда его выпишут из госпиталя.

— Рано, рано еще, — отвечал врач. — Надо окрепнуть и научиться ходить...

Потом Исаметдину принесли костыли. С их помощью он начал передвигаться по палате, а затем и выходить на улицу.

Как-то в июле в палату вошло несколько врачей.

— Ну, доблестный сын Узбекистана, завтра дадим вам подорожников, выпишем документы и можете собираться в путь-дороженьку к вашему солнышку, на виноград — набираться сил, — с улыбкой сказал один из них, обращаясь к Арабову. — Ждут, наверно, дома? Да и сами, конечно, рветесь. Понятно! Немного будете прихрамывать, но в общем ничего: нога на месте. Со временем привыкнете и даже не будете замечать, что одной косточки в ней недостает. Закажите себе обувь. Запомните: ортопедическая обувь. Тогда и без костылей ходить будете.

\* \* \*

В пору созревания хлопчатника возвращался бывший автоматчик Советской Армии Исаметдин Арабов в свой родной колхоз. На полях трудились колхозники: в артелях шили для хлопка канары и фартуки, в кузницах ремонтировались арбы, на кишлачных дорогах исправлялись мосты.

Радостной и теплой была встреча Исаметдина с матерью, братьями, с колхозными друзьями. Все были рады его возвращению. Радовался и сам Исаметдин. Правда, было грустно и обидно, когда в некоторых словах приветия и заботы он улавливал невысказанные мысли о нем, как о человеке, больше не способном к труду. Хотелось доказать, что это не так, что он будет работать не хуже, чем до войны.

Но как докажешь, если за время дороги из Баку до Чуамы нога так разболелась, что пришлось слечь в постель и терпеливо ждать, когда спадет опухоль и пройдет боль.

Вечерами около Исаметдина присаживалась мать и легонько растирала его ногу так, как делали это в госпитале медицинские сестры. Иногда вместо матери к Исаметдину подсаживался его младший брат Диламбай. Он охотно массирует ногу Исаметдина. Диламбай гордился своим братом, побывавшим, как он говорил, на „настоящей“ войне и умевшим так хорошо рассказывать о самодеятах, танках и боях с фашистами. Все эти рассказы Диламбай на другой же день передавал колхозным ребятишкам, слушающим его с неменьшим вниманием, чем он своего брата.

Через неделю Исаметдину стало легче. Опираясь на костыли, он мог ходить по кишлачным улицам и даже бывать на ближайших колхозных полях, уже менявших зелень своего наряда на бурые, чуть красноватые краски.

Скоро наступило утро, когда на нижних ветвях хлопчатника лопнули створки коробочек и оттуда показалось белое серебристое волокно. И едва начался выборочный сбор урожая, Исаметдин Арабов стал испытывать пальцы своих рук на раскрывшихся коробочках. Они так же, как и прежде, ловко выхватывали из створок все волокно без остатка. Но Исаметдин не мог работать долго. Мешали костыли. Тогда он попробовал обходиться в поле с одним костылем. И только одна его мать знает, каких усилий стоили ему эти попытки. Часто, глядя на его побледневшее лицо, она украдкой смахивала невольные слезы.

И все-таки Арабов добился своего. С каждым днем весы хирмана показывали все больше и больше хлопка, собранного Арабовым. Вскоре он сравнялся с лучшими колхозными сборщиками, а еще через неделю о нем писали газеты, как о непревзойденном мастере сбора хлопкового урожая. В ту осень Исаметдин собрал 20.382 килограмма хлопка. Это был подвиг человека, поставившего своей целью во что бы то ни стало быть полезным своему колхозу, своей стране. Правительство Советского Союза наградило Исаметдина Араובה орденом Ленина.

Весной 1945 года правление артели назначило его старшим звена. К этому времени Исаметдин получил долгожданную ортопедическую обувь. Она позволила ему совсем отказаться от опостылевших костылей.

1945 год был для Араובה первым годом, когда ему пришлось проявить свое умение растить хлопчатник. И он показал это умение. Звену Араובה удалось вырастить на каждом гектаре своего участка в среднем по 83 центнера хлопка.

Старые колхозники правильно объяснили разницу в урожаях, собранных звеном Араובה и другими звеньями артели: „У Исаметдина во время окучек все люди на землю смотрели, а у других звеньевых — на небо“, — говорили они.

На уборке урожая Арабов снова показал себя лучшим сборщиком. За сезон он собрал 29.600 килограммов хлопка. На груди Араובה рядом с орденом Ленина заблестел орден Трудового Красного Знамени.

Прошла зима. Весной Исаметдина привали кандидатом в члены ВКП(б). Обрадованный сказанным ему доверием, Исаметдин даст слово не жалеть сил для осуществления своей цели — вырастить стоцентнеровый урожай.

— Постараюсь взять от участка звена все, что он может дать при самом добросовестном труде, — заявил он на партийном собрании. Арабов сдержал слово. Осенью на государственном заготовительном пункте звено Араובה сдало в среднем по 101 центнеру хлопка с гектара. Такого урожая еще никогда не видали чужинцы ни у себя, ни у соседей.



И снова Исаметдин Арабов подтвердил, что он собирает хлопок лучше и быстрее всех сборщиков республики. За сезон он выполнил пятнадцать норм, то-есть собрал 30.510 килограмм в сырца. В январе Арабову вручили третий орден — орден Красной Звезды, а еще через некоторое время правительство Советского Союза присвоило ему звание Героя Социалистического Труда.

\* \* \*

Когда колхозники чествовали Героя Социалистического Труда Исаметдина Араובה, он услышал от них много душевных поздравлений и пожеланий. Всем хотелось сказать Исаметдину о своих добрых чувствах к нему.

Первым поздравил Араובה председатель колхоза Абдували Исмаилов. Он передал ему решение правления о постройке Арабову нового дома.

Секретарь колхозной комсомольской организации Гулямджан Рахманов призывал комсомольцев артели учиться у Араובה не только мастерству хлопкороба, но и уметь воспитывать в себе волю, выдержку и непреклонное стремление преодолевать любые трудности.

— Металл испытывается огнем, — говорил секретарь партийной организации колхоза Нишанов, — а советский человек — трудом. Таких людей, как наш Исаметдин, можно сравнить только с металлом, который от огня становится тверже.

Сдерживая невольные слезы радости, попросила слово и престарелая мать Исаметдина Паттихон-бу.

— Я не знаю, как выразить мне словами свою радость — радость матери, — сказала она. — Как мне отблагодарить за это счастье великого Сталина — подскажите мне...

В конце своей короткой речи Паттихон-бу попросила назначить ее старшей звена, чтоб иметь возможность соревноваться с сыном. И когда Абдували Исмаилов от имени правления колхоза объявил, что Паттихон-бу имеет полное право быть старшей звена, многие из пожилых колхозниц заявили о своем желании работать в ее звене.

— Дайте и мне слово, — попросила старшая одного из комсомольских звеньев Турдыхон Джураера. — Я тоже хочу соревноваться с Героем... Я хочу перенять его опыт, научиться у него выращивать стоцентнеровые урожаи.

Вслед за ней выступили звеньевые Адалят Кадырова, Ульпатахон Атабаева, Рузияхон Саттарова, и все они выражали желание соревноваться с Арабовым, учиться у него выращивать высокий урожай хлопка.

\* \* \*

Томительные дни ожидания всходов. Каждый хлопкороб невольно испытывает тревогу, если утро хмуро, а небо покрыто сплошной пеленой серых облаков. Что может предвещать такое

утро, если стоит еще только первый месяц весны? Дождь или снег? Зачем они, когда засеянными хлопковыми полям нужно яркое, теплое солнце!

Долго пришлось ждать первых всходов звену Исаметдина Арабова. Они появились только 10 апреля — на двенадцатый день после посева. Через день завеленело все поле. Звено решило приступить к прореживанию.

— Ждать нельзя, — сказал Арабов людям своего звена, ранним утром собравшимся в поле. Но когда Исраил Шакиров взял в руки кетмень, чтобы с помощью его удалить лишние растения, старший звена добавил:

— Кетмень положи. Всходы еще очень нежны. Даже от слабого удара кетменя по земле рядом с гнездом всходов хлопчатника может сломаться стебелек или огорваться корень. Удаляй лишние растения руками. Кетменя пустим в ход, когда окрепнут всходы.

После прореживания звено приступило к первой кетменной окучке. Но неожиданно наступило похолодание, пошли дожди. Они продолжались несколько дней. Поля разбухли, расплылись от излишней влаги. Местами хлопчатник стоял в холодной воде, заболел корневой гнилью.

Звено Арабова делало все для того, чтобы спасти всходы: хрупкие стебельки укрывались соломой и перепревшим навозом, ночами вокруг участка зажигались костры, и дым от них расстилался по полю, предохраняя хлопчатник от губительного действия возможных заморозков...

Все же часть всходов погибла. Что делать? Пересевать, значит потерять много времени на ожидание всходов. Арабов решает на пересадку. Он обратился к звеньевым, не успевшим до похолодания закончить прореживание, с просьбой уступить ему лишние растения хлопчатника.

И вот несколько дней подряд с утра до вечера члены звена Арабова переносили с полей других звеньев целые гнезда всходов, высаживая их на своем участке в заранее подготовленные лунки вместе с захваченной кетменем почвой. При таком способе не повреждались корни растений.

Пересаженный хлопчатник хорошо прижился. Однако участок выглядел все же не так, как в прежние годы. Некоторые из кустов уже выпускали бутоны, а другие только еще обрастали второй парой листочков.

— Что будем делать? — спрашивала Арабова самая младшая из членов звена Розияхон Вахидова.

— Ухаживать за каждым рядком, за каждым кустом, так, как ухаживают за маленькими детьми, — отвечал звеньевой. Это означало, что между рядами с растениями, отстающими в развитии, нужно было тщательно рыхлить, а наиболее слабые кусты хлопчатника подкармливать удобрениями в большем количестве, чем остальные.

После трех кетменных окучек, культиваций и поливов хлопчатник на поле звена Арабова начал выравниваться и скоро зацвел. Радостным был день, когда члены звена увидели на своем участке

первый цветок. Больше всех радовалась Розияхон Вахидова. Она уже видела в своих мечтах все поле, покрытое крупными коробочками распушившегося хлопка.

— А с кем мы будем соревноваться на сборе урожая, Исаметдин-ака? — спрашивала она звеньевую.

— Ты очень торопишься, Розияхон, — говорил ей Арабов. — До сбора урожая еще очень далеко. Надо много отдать труда нашему полю, чтобы вырастить этот урожай.

\* \* \*

В конце июля в Андижане происходил областной съезд хлопководов. Был на нем и Исаметдин Арабов. Ему хотелось поделиться опытом своей работы в поле, посоветоваться с другими хлопководами и узнать, как выполняют андижанские колхозники обязательства, которые они взяли на себя весной в письме товарищу Сталину.

Единое мнение участников съезда сводилось к тому, что в августе надо усиленно продолжать уход за хлопчатником.

Со съезда в Чуаму Арабов вернулся рано утром. Он быстро переоделся и, не выпив пиналы чаю, вышел из дома по направлению к своему участку. Около некоторых домов он останавливался и громко звал:

— Исраилджан! Ой, Исраилджан!

Прождав с минуту, он проходил дальше и снова выкрикивал, останавливаясь у другого дома:

— Миркасымджан! Ой, Миркасымджан!

Арабову ответили только в одном доме.

— Берегите голос, Исаметдин-ака, — услышал он, — все давно в поле. Я видел их там час тому назад, — из калитки двора вышел невысокого роста худощавый человек с перебинтованной рукой.

— А, Гуламджан! Здоровы ли? — приветствовал Арабов секретаря колхозной комсомольской организации Рахманова.

Рахманов, также, как и Арабов, — участник Великой Отечественной войны, еще не вполне оправившийся от тяжелых ранений.

Исаметдин Арабов сообщил Рахманову о решениях областного съезда и расспросил о колхозных новостях. Новость была одна: в колхоз приехал агроном, работающий в одном из научных учреждений Ташкента. Еще вчера он осмотрел все артельные поля, а сейчас вместе с председателем правления ушел на участок звена Паттихон-бу. Оттуда пройдет на поле звена Арабова.

— Мы его застанем там. Он очень хотел видеть вас, Исаметдин-ака.

Встреча с агрономом состоялась на участке звена Паттихон-бу. Он стоял среди сомкнувшихся рядов хлопчатника и говорил председателю колхоза Исмаилову:

— Здесь был бы исключительно высокий урожай, но звено допустило большую ошибку, когда прореживало всходы. Надо было оставить в лунке не по три, а по два растения. Чрезмерная гу-

стота стояния привела к тому, что к ветвям нижнего яруса проникает очень мало солнечного тепла, света и воздуха. Смотрите, внизу на ветвях только по три-четыре коробочки. Меньшее количество растений в гнезде дало бы больший урожай. Вдобавок, звено опоздало с чекалкой. Это тоже сказалось на количестве коробочек.

Участки Паттихон бу и ее сына были недалеко друг от друга. Вскоре агроном, Арабов и Рахманов ходили вдоль поля звена Арабова.

— Конечно, здесь хлопчатник значительно лучше. Уже по тринадцать-четырнадцать полноценных коробочек на кусте. Замечательно! Труда положено много. Расскажите, как вы ухаживали, когда сеяли, окучивали. Только подробнее, — и агроном вынул блок-нот. В свою очередь Арабов достал из кармана гимнастерки потрепанную записную книжку и стал называть даты первой и второй вспашек, сева, прореживания, окучек, поливов, подкормок.

Агроном особенно интересовался количеством вложенных в землю удобрений. Названные Арабовым цифры свидетельствовали, что звено проявляло исключительную заботу о плодородии почвы.

— Теперь мне понятно, — улыбнулся агроном. — Вы не даёте почве истощаться, а, наоборот, ежегодно обогащаете ее питательными веществами. Вдобавок, хорошей и своевременной обработкой улучшаете способность хлопчатника усваивать внесенные удобрения.

— Мы дали уже четыре окучки, четыре полива и четыре двойных культивации, — добавил Арабов.

— Что намерены еще делать на участке?

— Будем еще раз подкармливать отдельные рядки хлопчатника, рыхлить, поливать и снова рыхлить.

— Правильно, — одобрил агроном, — только не подсушите. На участке звена Кадыровой подсушили шесть рядков и потеряли часть урожая.

— У Кадыровой? — удивился Арабов. — У комсомолки?

— Да, у Кадыровой Адалят в комсомольско-молодежном звене, — подтвердил Рахманов.

— У нее отличный был бы урожай, но она прозевала: во время не заметила, а бригадир не подсказал. Шесть рядков не полили, хотя вода была рядом. Смотрите, товарищ Арабов, и на вашем поле есть отдельные места с подсушенными растениями. Видите вон, в конце поливных струй? Поливальщик и члены звена недостаточно внимательно следят за тем, чтобы каждый куст получил воду в достаточном количестве. Так можно потерять много коробочек.

Арабов согласился, что такая опасность есть, и тут же вызвал поливальщика.

От взгляда агронома не ускользнуло и то, что некоторые кусты хлопчатника не были прочеканены, хотя все они имели по тринадцать-четырнадцать плодовых ветвей. Заметил агроном и места, где культиватор рыхлил только самый верхний слой почвы.

Все внимательно слушали каждое замечание агронома. Арабов молчал и только укоризненно посматривал на того, по чьей вине

была допущена небрежность в обработке. Они чувствовали себя неловко. Миркасым Разаков от смущения даже отвернулся.

— А сколько мы соберем хлопка с нашего участка? — неожиданно спросил Исраил Шакиров, считавшийся в звене лучшим ветменщиком.

— Столько, сколько сумеем вырастить, — сухо ответил за агронома Исаметдин Арабов. — Времени еще много, чтобы приумножить урожай или потерять, что уже накоплено. Все зависит от того, как будем дальше улаживать за хлопчатником. Вы слышали о звене Кадыровой! Так может быть и у нас, если будем только считать урожай.

— Да, — подтвердил агроном, — считать урожай еще рано. Ваш участок требует большой заботы, хотя хлопок на нем есть. О вашем звене знают все хлопкоробы Узбекистана. С вами соревнуются лучшие мастера хлопководства. Куда ни придеешь, обязательно спрашивают: „А как в звене Арабова?“ Сейчас я не могу им ответить. Вам же на прощание скажу: работали вы не жалея труда. Урожай будет большой, но его можно и нужно увеличить, если поработать с таким же напряжением, с каким вы работали.

\* \* \*

Август прошел в заботах.

Еще выше поднялся хлопчатник на участке звена Исаметдина Арабова, еще тяжелее стали его ветви, увешанные крупными коробочками.

Все чаще и чаще приходили на участок члены правления, бригады и старшие звеньев артели. Они полугоду ходили по межам, забирались в сомкнутые междурядья, считали коробочки и, прежде чем уйти, подходили к Арабову и жали ему руку, отдавая должное его мастерству и трудолюбию членов его звена.

— Вам, Исаметдин-ага, надо отдать в ученики не только всех наших звеньевых, но и бригадиров, — сказал как-то Арабову председатель колхоза, осматривая вместе с ним артельные поля.

— Я не скрываю своей работы. У меня нет тайны. Каждый сможет получить хороший урожай, если он действительно его пожелает иметь. Только желать надо сильно, очень сильно. Например, так, как мать желает встречи с любимым сыном после долгой-долгой разлуки.

— Ваши слова золотые! Вы многих из наших звеньевых научили умению так желать. По вашему пути пошли и Адалат Кадырова, и Турдыхон Джураева, и Ровияхон Вахидова. В их звеньях урожай такой, что любой колхоз им может гордиться.

Хлопчатник на участке звена Арабова созревал. Между его рядов можно было проходить, только раздвигая кусты руками. Члены звена уже с нетерпением ждали первую раскрывшуюся коробочку. Каждому хотелось, чтобы она обязательно появилась в ряду, на котором он так старательно трудился в течение всего лета. Исраил Шакиров и Ровияхон Вахидова даже поспорили из-

за этого, и если бы не вмешательство Арабова, спор, наверно, не решил бы в ссору.

— Не спорьте, — сказал он, — если появится одна раскрывшаяся коробочка, то рядом найдете другую. Только на подсушенном и на больном кусте коробочки появляются раньше, чем на остальных кустах. Наш же хлопчатник не подсушивался и не болел.

Случилось так, как говорил звеньевой. И Розияхон и Исраилджан в одно и то же утро, в один и тот же час увидели в своих рядах белоснежные комочки волокна, показавшегося из лопнувших створок коробочек. Раскрылись коробочки и в рядах, за которыми ухаживали другие члены звена.

Через неделю, когда забелело все поле, звено приступило к массовой уборке урожая. В то утро Исаметдин Арабов надел фартук и первым вошел в междурядье. Через пять рядов от него встал Исраил Шакиров, еще через пять Розияхон Вахидова, затем Хадичахон Мадаминова... Все входили в свои рядки с понятным волнением: они начинали соревнование в мастерстве сбора урожая.

Исаметдин начал собирать с верхних ветвей куста. Пальцы обеих рук одновременно погружались в мягкое волокно коробочек, с изумительной быстротой забирали его и легким непринужденным движением перекидывали в просторный карман фартука. На верхних ветвях оставались только нераскрывшиеся, еще зеленые коробочки. Арабов склонялся к нижнему ярусу растения, а затем, не разгибаясь, протягивал руки к соседнему кусту.

Уже в первые дни сбора все без исключения члены звена стали перевыполнять нормы. Но никто не смог собрать столько хлопка, сколько собрал Арабов.

Если вечером Хадича Мадаминова, слышная и в прошлом году хорошей сборщицей, сообщила Арабову, что за день сдала на хирман полтораста килограммов сырца, то он неизменно ей говорил:

— Сердце радуется, когда я узнаю о твоём усердии, Хадичахон. В колхозе каждый знает, что у тебя хорошие руки, но я знаю еще немного больше, чем другие: твоими руками ты можешь собирать в день не по полтораста, а по двести и по триста килограммов.

— Триста? Столько же, сколько собираете вы, Исаметдин-ака?

— Можно собирать и больше, если не делать лишних, ненужных движений и не отвлекаться от работы.

Часто Арабов показывал членам звена, как надо собирать хлопок. Это помогло Киргиз-ой Ибрагимовой и Саткин-ой Садыковой сравняться с Мадаминовой.

На участок Арабов почти ежедневно приходил секретарь комсомольской организации Рахманов. Он подходил к каждому члену звена, желал ему: „Не уставай!“ и становился рядом, помогая выбирать из коробочек хлопок, рассказывал, как идут дела в других звеньях артели.

Иногда он сообщал, что звено Кадыровой или Джураевой собрало больше, чем звено Арабова. Тогда Рахманов заставляли подробнее рассказывать, на каком поле производился сбор, сколько

времени работал сборщик или сборщица и не смешивали ли первые сорта хлопка с худшими.

— А не произошло ли ошибки, когда взвешивали хлопок, собранный звеном Турдыкон? — с усмешкой спросила его однажды Розияхон.

— В таком деле, Розияхон, ошибки не может быть, — спокойно ответил Рахманов. — Я проверял сам. Правда, в колхозе еще никто не собирает за день столько хлопка, сколько Исаметдин-ака, но, видимо, остальные члены звена не всегда хорошо ему помогают. Вот чем я объясняю то, что иногда у Кадыровой дела идут лучше, чем у вас. Но если считать с начала уборки урожая, то еще никто в артели больше вашего звена не собрал, и я думаю, что никто не соберет.

— Овец считают, Гуламджан, не только на пастбище, но и в кутане: мгут волки съесть.

— Правильно, все же и сейчас видно, что дела ваши должны закончиться хорошо.

— Вы сегодня с утра кушали много меда, потому и говорите так сладко. Уже октябрь. Есть опасность задержаться с уборкой до заморозков и дождей. Сколько пропадет тогда хлопка и нашего труда — это вы не подсчитали, Гуламджан? А нало было бы подсчитать и поругать нас за то, что мы медленно убираем, а не успокаивать речами, обсыпанными сахаром.

Рахманов засмеялся:

— Не сердитесь, Исаметдин-ака, я говорю такие речи только в вашем звене. Ваш хлопок под дожди не попадет. Вы уже сдали государству больше, чем обязались по контрактационному договору, а впереди еще половина октября. Если бы все наши звенья так боролись за свои обязательства, то наш колхоз давно был бы на „Доске почета“.

— Нужно собрать и слать государству все, что есть на поле, без остатка, Гуламджан. Впереди большой праздник — 30 лет Великого Октября. Его мы должны встретить праздничным подарком. Как думают комсомольцы?

— Комсомольцы, которые возглавляют звенья, решили к 7 ноября перевыполнить государственные планы контрактации.

— Это хорошо. А наше звено даст к праздничным дням не меньше 60 центнеров хлопка с каждого гектара.

— Вы сумеете сдержать свое слово, Исаметдин-ака!

— Я — ровесник Великого Октября. Но пусть сдержат свое слово и звеньевые комсомольско-молодежных звеньев.

\* \* \*

Наступали праздничные дни. Попржнему напряженно трудилось звено Арабова на своем участке. С утра до позднего вечера работали на полях и члены комсомольско-молодежных звеньев.

В канун праздника 30-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции колхозный счетовод вручил председа-

телю артели Исмаилову справку, в которой было сказано, что звено Исаметдина Арабова сдало государству с каждого гектара своего участка по 66 центнеров хлопка. В этой же справке отмечались восемь комсомольско-молодежных звеньев, namного перовыполнивших планы контрактации. Выполнило договор с государством и звено Паттихон-бу. Но уборка еще не была закончена. На полях всюду белели раслушавшиеся коробочки хлопка.

— Весы хирмана не ошибутся и скажут лучше, чем подсчет коробочек, — заметил Арабов, когда председатель артели попросил его подсчитать количество хлопка, которое можно еще ждать от его звена. — Уборку курака не задержим. Надо пахать под зябь.

После торжественного собрания, которое состоялось в колхозе накануне 30-й годовщины Великого Октября, Арабов за чашкой чая делился своими мыслями о необходимости начинать подготовку к борьбе за урожай будущего года.

— Колхозу надо из года в год повышать свой урожай. Чем больше урожай, тем богаче будет наша страна, тем больше дохода станет у колхоза, тем лучше и культурнее будем мы жить. Я хочу, чтобы в нашем колхозе как можно скорее была построена электростанция, чтобы в кишлаке были красивые уютные дома и чтобы на полях наших работало как можно больше машин, освобождающих людей от тяжелой работы. Мы должны иметь хороший клуб, радиостанцию, кинотеатр. Надо, чтобы наш кишлак, как и все кишлаки Узбекистана, был похож на город. Я хочу, чтобы труд каждого колхозника был наполнен еще большей радостью, чем сейчас.

Арабова внимательно слушали и старики и молодежь. Когда он кончил, Рахманов сказал:

— А ведь так будет, Исаметдин-ака, и очень скоро!

— Да, так будет, — подтвердили другие.



## САМАРКАНД В ЖИВОПИСИ

## I

Рассказывают: высоко, в горной деревне Чао-Чиа жил некогда художник по имени Ян, необычайно искусный в изображении птиц и животных. Особенно Ян любил рисовать диких горных курочек, полосатых, как тигрята, с яркими пурпурными лапками и глубокими странными глазами (у птиц всегда такие странные глаза). В зрелом возрасте Ян окончательно решил посвятить себя искусству и ушел в горы, ведя отшельнический образ жизни. Много лет потратил Ян на то, чтобы как следует научиться изображению любимых птиц; а когда волосы его поседел и в деревне Чао-Чиа люди почти позабыли о нем, Ян спустился с гор и показал свои работы. Люди были восхищены тщательностью рисунка, искусным изображением атласных перьев, тонкого нежного пуха и еле уловимым сплетением штрихов, покрывавших алые ножки куропаток.

— Смотрите, — говорили люди, — хоть эти птицы и мертвы, но изображены как живые.

— Нет, — отвечал Ян, — они не мертвы, они просто спят.

Он взял свои работы и опять ушел в горы, понимая, что он еще очень далек от настоящего искусства. Прошли годы, волосы Яна стали совсем белыми. Он снова собрал все работы этих лет и спустился в Чао-Чиа, где оставленный им маленький его брат стал отцом многочисленного семейства и где имя Яна давно перестали произносить. Ян показал свои работы. Люди вновь подивились искусству мастера, много хвалили его:

— Вот птицы, которые спят, — говорили они.

— Да нет, — говорили другие, — они не спят, они убиты: видите, у них плотно прикрыты глаза и ветер дует прямо под перья.

И только Ян знал, что птицы эти живы и просто греются на горном солнышке, зарываясь в горячий песок и подставляя легкому ветру приоткрытые клювы и пестрые шелковые крылья. Господин лавочник хотел купить у Яна несколько картинок для украшения своей лавки, в которой продавались всякие редкие вещи и куда заходили самые богатые люди деревни. Но Ян картинок не продал и, огорченный, опять удалился в горы, понимая, что сов-

сем далек от подлинного мастерства. Прошло еще много лет. Какими были волосы Яна — он и сам давно позабыл. Ян вообще обо всем позабыл, у него было только его искусство, составлявшее его мир. И когда он в третий раз спустился в Чао-Чиа, никто не знал, кто этот древний отшельник и как его зовут. Ян развернул свиток и показал собравшимся одну единственную картину. Люди посмотрели и ничего не сказали. Они увидели обыкновенных горных курочек, гревшихся на солнце, в очень жаркий летний день. Птицы сидели на пестрых, как и их одеяния, камнях, а от перьев их и от всей вообще картины веяло запахом нагретого пуха и песка. Алые ягоды дикой вишни, кое-где покрывавшей трещины камней, теплыми гроздьями спускались к раскрытым клювам птиц, но истома, овладевшая ими, была, казалось, непреодолимой. Люди посмотрели и ничего не смогли сказать. Ян взял свою картину и улыбнулся:

— Теперь, — сказал он, — я знаю, что достиг совершенства. Теперь я пойду в Самарканд и покажу там свою картину, ибо только в Городе Мира могут вполне оценить настоящее искусство.

И он двинулся в путь. Ян умер в горах, не увидев Самарканда. И на могиле его посадили колючее дерево чжи<sup>1</sup>. Дерево чжи цвело два раза в год, и каждый проезжающий вешал на него цветную нитку или лоскуток, не догадываясь даже, что посетил могилу, может быть, величайшего художника Востока.

Советский Восток знает своих художников и гордится ими.

## II.

Аметистовое кружево гор; кольцо садов и виноградников; прозрачные горные реки и арыки, полные поэзии руины, романтические, украшенные родниками, звенящие от теплого ветра, рощи тополей и платанов; солнце — более яркое, чем во всех других уголках мира, — таков Самарканд, издавна привлекавший к себе внимание художников и поэтов.

Самарканду посвящены все самые сильные работы В. В. Верещагина, подарившего русскому искусству знаменитый Туркестанский альбом.

Самарканд научил художника Н. Н. Каразина всем секретам декоративности, эффективности и яркой колоритности его картин. С. М. Дудин — художник, влюбленный в Самарканд, всю жизнь прожил под впечатлением этого города и ни Монголия, ни Индия, ни Сям не смогли никогда изгладить и нейтрализовать эти впечатления.

Верещагин посвятил Самарканду множество работ в виде этюдов, рисунков, набросков отдельных типов и пейзажей, деталей архитектуры и орнамента, тканей, костюмов, оружия и аксессуаров. Но самое значительное место в арсенале его работ занимают большие полотна сюжетных картин: „Представляют трофей“, „Про-

<sup>1</sup> Дерево чжи — боярышник.

даже ребенка“, „У ворот Тамерлана“, „Нет бога, кроме бога“, „Курильщик анаши“ и многие другие. Поставив себе целью воспроизведение действительности, как она есть, Верещагин показывает нам жизнь Самарканда эпохи русского завоевания. Подробнейшим образом разработанные детали картин шаг за шагом восстанавливают перед нами прошлое нашего города, со всей сложностью отношений людей — покорителей и покоренных, имущих и неимущих.

Работы художника Каразина (автора многих повестей и романов из жизни Средней Азии) в части, посвященной Самарканду, очень хороши. Это в большинстве случаев акварели и рисунки тушью, иллюстрирующие отдельные сочинения о любезном его сердцу крае. Многочисленны и хороши его рисунки, приложенные к двухтомному сочинению Черезанского „Две волны“. Исключительная помпезность, декоративность, бьющая в глаза колоритность — таковы отличительные черты его работ, не столько заботящихся о правильности исторических и этнографических представлений, сколько о силе общего впечатления, эффектности. Большие и сложные композиции (разгром Золотой орды Тимуром на Волге), масса людей, животных, цветных палаток, шатров, архитектурных деталей — все это очень сильно сделано художником.

Каразин имел склонность к изображению сражений, шаманских молений, походов, в которых участвовали сотни тысяч людей (поход Тимура на Китай). Мастер толпы — он прекрасно умел писать ее, персонифицируя и подбирая типаж, создающий огромное впечатление („Поход на Самарканд“, „Взятие Самарканда“).

Дудин писал свои вещи преимущественно для Музея этнографии и антропологии. Отсюда вытекала и общая специфика его работ, склонность к передаче деталей, аксессуаров костюма и обуви, оружия и предметов культа. Этим же диктовался и выбор сюжетов его картин: дервиши, ишаны, заклинатели змей, мастерская ремесленника с его инструментами, костюмы дервишей различных орденов. Рисунок за рисунком, этюд за этюдом раскрывают перед нами быт, верования, представление о мире людей, населявших Самарканд почти сто лет назад.

Не оставляли своим вниманием Самарканд и художники более позднего времени. Из значительных следует назвать Бурэ, заслуженного художника Узбекистана.

Творче тво Льва Леонардовича Бурэ почти целиком посвящено Самарканду.

Археологический оттенок тем Бурэ делает его картины ограниченными и несколько отчужденными от сегодняшнего дня.

На современные темы Бурэ не писал и работал только в плане возможно более тщательного воспроизведения архитектурных памятников Самарканда.

Архитектурные ансамбли, писанные Бурэ, согреты большим лиризмом. Смотришь на его мечети и чувствуешь, что каждый кирпичик, каждый изразец их уложен с такой любовью! Палитра Бурэ весьма специфична, это золотисто-желтая охра и

своеобразный тон голубого неба. Картины Бурэ настолько индивидуальны по своим живописным особенностям, что могут быть легко найдены среди сотен других на ту же тему. Работники музеев безошибочно узнают их по маленькому уголку неба, выставившемуся из-под кисти картонов и полотен других мастеров. О Бурэ хочется сказать так, как когда-то говорили о голландском живописце археологе Альма Тадема: если бы Рим, Греция и Египет исчезли с лица земли, они могли бы быть заново построены с их парками, дворцами, архитектурными ансамблями, интерьерами и экстерьерами по полотнам Альма Тадема. Если бы явилась необходимость воссоздать Самарканд в его настоящем виде, для этого не было бы образцов лучше, чем полотна Бурэ, дающие полное представление о памятниках среднеазиатской архитектуры и историкам и археологам.

Много работали в Самарканде и другие значительные художники. Народный художник УзССР Аганес Карапетович Татевосьян, ученик Коровина, приехал в Самарканд еще студентом Академии. Он привез из Самарканда в Петербург множество этюдов, имевших небывало шумный успех. Молодому художнику была дана заграничная командировка, и он за счет Академии отправился в Константинополь, Трапезунд и дальше на Ближний Восток. И до сих пор Татевосьян, живущий в столице Узбекской республики, часто приезжает в Самарканд, вывозя отсюда новые прекрасные картины.

Сюжетами Татевосьяна являются солнечные пейзажи (Дорога в сады), фруктовые базары (Палатка с фруктами), праздники (Саиль). Очень хороши его жанровые сцены, например „Сбор винограда“, изображающий девушек с поднятыми вверх руками, срывающих розовые грозди плодов. Кажется, розовый сладкий сок течет по их пальцам, обливая золотисто-розовым шелком девичьи тела.

Много работал в Самарканде народный художник Узбекистана Варшам Еремян, график и акварелист. Огромный багаж, накопленный в Самарканде, Еремян понес в кино. До сих пор симпатии Еремяна связаны с Самаркандом, до сих пор все его творческие замыслы реализуются в этом городе. В Самарканде он работал над оформлением фильма „Тахир и Зухра“. В Самарканде же снимался оформляемый им фильм „Навои“.

В наши дни чудесный город, как и прежде, привлекает художников России. Многие ленинградцы и москвичи мечтают поработать в Самарканде, в городе, овеянном дымкой легенд и сказаний прошлого, в городе огромных перспектив и возможностей будущего.

Самаркандское отделение Союза советских художников насчитывает 20 постоянных членов. В летнее каникулярное время цифра эта значительно возрастает благодаря притоку из центра. Среди мастеров живописи много художников местных национальностей, вышедших из кишлаков и селений Самарканда. Они, усвоив технику русской живописи, русскую эстетику, внесли в свои работы специфику национального искусства, формируя, таким образом, новое, национальное по форме и социалистическое по содержанию, искусство узбекского народа.

Наибольший интерес в этом плане представляют работы Тимурова. Тимуров еще молод он не так давно окончил Самаркандское художественное училище, но удивительная направленность этого художника-пейзажиста свидетельствует о незаурядном таланте, в нем заложено. Он не колеблется в выборе темы, манеры, — он всегда уверен, всегда индивидуален в трактовке сюжета, колорита и композиции.

Любовь к природе, к родному краю так велика в нем, что оттесняет на задний план все остальное. Тимуров — не урбанист, он почти не пишет города: он влюблен в дали, в закатные перламутры гор, пенящиеся воды Зеравшана, в безграничный простор и ширь Родины. На этюды он уходит далеко в горы. Для него пленэр не персиковый сад в городской махалле, для него это необозримые, выходящие по откосам гор, дороги, чистый воздух и свежая зелень приальпийских лугов. В природе для него — вся жизнь. Все вещи Тимурова овеяны обаянием этой большой любви.

Из числа интересных художников-узбеков следует назвать еще Разыкова и Хайдарова.

Разыков недавно вернулся с фронта и все еще очень страдает от ран, поэтому работает не так, как ему хочется. Пейзажист по своему характеру, он вынужден писать свои вещи недалеко от дома. Вещи его своеобразны по колориту. Выполненные в серебристо-серых и зеленовато-серых тонах, они создают впечатление ясных лунных ночей: все блещет, все сияет в мягком притушенном свете луны... Но оказывается это — дневные пейзажи художника. Так он видит мир. Его мир — это мягкие, не вполне четкие контуры, глуховатые теплые краски, полутона.

Хайдаров также был на фронте и только недавно возобновил свои занятия живописца. Слишком долго руки не держали кисть. Теперь приходится наверстывать потерянное, упорно работая. Очень помогли Хайдарову русские товарищи, пригласив его принять участие в коллективной поездке в Ургут летом прошлого года. Поездка дала великолепные результаты. Привезли много интересных работ, имевших значительный успех на осенней Республиканской выставке. А многие художники, в числе их и Хайдаров, сразу вошли в курс современной живописной жизни, непосредственно включившись в тесный круг интересов своих коллег. Из Ургута Хайдаров привез лилобытные этюды и в числе их вещь, пользующуюся вполне заслуженным вниманием зрителя — „Дорога на Ургут“. Написанная в теплой золотистой гамме, она подкупает правдивостью настроения, передающего ощущение поэтического уголка дороги в жаркий прозрачный день.

Совершенно особое место в Самаркандском отделении Союза советских художников занимают живописцы всесоюзного значения — П. П. Беньков и З. М. Ковалевская.

### III

В молодости Беньков увлекался импрессионизмом. Копировал старых мастеров. Ездил для этого во Францию. Был в Италии,

Испании. По окончании Академии художеств потянул к себе север, каменный пояс высоких Уральских гор, неярких и суровых, жил там, где начинается тундра; увлекался северными пейзажами, бытом вогулов.

Деревня Бахари. Едет вогулка на олене, дело к вечеру. Мороз 45°, а до становища далеко. Она выроет ямку в снегу и спит там с ребенком за пазухой. Нет, чтоб в избу попроситься — хоть и рядом. Все это казалось интересным, хотелось работать только там. А потом вдруг потянуло на юг, в яркие европейские солнечные курорты. Ницца, Неаполь, Монте-Карло, Капри... Виллы, заросшие глициниями и розами, расчищенные парки, роскошные баллюстрады мраморных отелей. Море... солнце. Босфор, Солернский залив, Сарацины, Палермо, Сицилия. Наконец — Средняя Азия, Бухара. Домой написал, что долго не вернется, что нашел, наконец, то, что искал — Самарканд. И не вернулся совсем в Россию.

Беньков участвовал во многих международных выставках. Особенно запомнилась ему выставка в Риме, где он выставил свои полотна вместе с Бонаром, Репиным, Серовым. Выставлено им было две картины: одна из них — „Наследница“, изображавшая лестницу (мраморную, отлогую, в стиле Ренессанс) в вилле Дэста, в Тиволи под Римом, а на ней маленькую девочку, направляющуюся вверх по белым ступеням. Вторая также была писана в вилле Дэста. Осенний день. На мраморном полу множество желтых листьев и на мраморной скамье — одинокая фигура.

— Помню, — рассказывает художник, — просил несколько дней не мести этот уголок... !

Этот период творчества Бенькова отмечен печалью. Трудно даже себе представить, что этот жизнерадостный, безоблачный художник когда-то мог писать такие беспредельно-тоскливые глаза, такие печально опущенные углы рта, скорбные руки.

...Горы фишашек и миндаля, черные, с поволокой, гроздья матового чараса, розовый, полупрозрачный нимранг, влажный хусейни, коричневый инжир. Груши — зеленовато-коричневые, весомые. Полные соблазна белые яблочки кальвиль, словно застыдившиеся своей зрелости и покрасневшие с одного бока. Дыни — светло-серые, с мясом красным и хрупким, пахнущим ананасом, и рядом — хивинские, круглые, серые, с оранжевыми жилками, белые внутри и мягкие, как помадка, пахнущая лимоном. Но самые лучшие — воспеты поэтом Бабуром, растущие недалеко от Самарканда, — сорта Мир-Тимур. Желтые, с белой сеткой на кожице, заключающей в себе до того нежное и сочное мясо, что их нельзя лишней раз взять в руки — они нежнее персиков и их держат в камышовых плетенках, подвешенными к потолку лавок и палаток. Так они и дозревают. Зрелую дыню этого сорта домой приходится нести с большой осторожностью, чуть ли не на тарелке.

И вся эта яркость плодов залита невероятно ярким солнцем. Живописные торговцы изящной снедью, одетые в легкие ткани,

пестрые и светлые, — сами по себе величайший соблазн для художника. И на такой вот базар впервые попадает живописец, только недавно очнувшийся после западных Матиссов, ализариновых Сарьянов и мотивов печали.

Беньков запоем пишет. Пишет почти без разбора, пишет увлекаясь, как никогда, — развалины мечетей, базары овощей и фруктов, ряды, где продают циновки, глиняные чашки, кувшины и детские игрушки. Восток вернул художника к реалистическому искусству.

Любовь к человеку стала девизом самаркандского периода творчества Бенькова. Его произведения приобретают более сложный колорит, композиции становятся более сложными, появляется большое количество фигур — сочно написанных, с грубоватыми, но очень характерными лицами и фигурами. Натюрморт и пейзаж приобретают служебную роль, перестают быть довлеющими, уступают место жанровым сценам, но не исчезают совершенно, а эмоционально закругляют и оформляют экспозицию. Художника привлекает политически заостренная тема, рассказ о сегодняшнем дне („Приезд М. И. Калинина“, „На строительстве канала“, „Праздник в колхозе“). Намечается стремление к изображению красивых лиц и фигур. Вскоре Беньков переходит к портретным композициям, создавая свою небольшую галерею девичьих лиц. Пишутся этюды к полотну „Подружки за сбором винограда“, „Прическа“, „Письмо с фронта“, „Дутаристка“, „Артистка“, „В новой семье“ и др.

Чарующие красотой, здоровьем и жизнерадостностью, чистые и нежные девушки создают то исключительное впечатление романтики Советского Востока, которое Беньков чувствует сам и заставляет так остро чувствовать всех, знающих его искусство.

Живопись Бенькова отличается большой организованностью колорита. Разнообразная и полновзвучная палитра его передает мир каким-то освеженным, какими бывают свежие утра после весенних дождей. Искренние по настроению произведения его совершенно чужды венским условностям, а также того формалистического „парижского“ лоска, которым иногда все еще любят пощеголять провинциальные западники из очень молодых и на Западе никогда не бывавших художников.

О том, что П. П. Беньков является постоянным экспонентом Всесоюзных выставок в Москве, не приходится говорить. Произведения его есть во всех главнейших музеях страны: в Третьяковской галерее, в Музее народов СССР, в Музее ВЦСПС, в республиканских музеях Татарии и Узбекистана.

В нашем республиканском музее — в Ташкенте — живопись Бенькова занимает одно из самых значительных мест.

Там экспонирована огромных размеров его картина: „Приезд Калинина к колхозникам Средней Азии“, очень большая, в высшей степени декоративная вещь, „Подруги, собирающие виноград“, небольшое, но изящное полотно „Золотая осень в Чорминоре, в Бухаре“ и несколько более мелких произведений.

К сожалению, в жанровых вещах Бенькова не ощущаешь той

изумительной цельности, той органичной связи сюжета с пластическими средствами выражения, которыми отличаются превосходные этюды базаров, мечетей, медресе, пейзажей, написанные в самаркандский период творчества художника. Всегда политически заостренные, сюжеты вполне современные, даже часто злободневны, но живописные средства от всего этого несколько отстают. И этот сдвиг формы и содержания безусловно снижает идейную сущность его произведений. А к такому мастеру, как Беньков, мы вправе предъявлять очень большие требования, так как кто же, если не он, заслуженный художник Узбекской республики, укажет новые пути молодым художникам Узбекистана, разыщет и даст им новые средства живописной выразительности?!

А Бенькову есть кого учить. Он работает в Республиканском художественном училище, он имеет множество учеников за стенами его, к нему приходят учиться и те, кто сами являются учителями и вполне признанными живописцами. Беньков имеет большие заслуги в области воспитания национальных кадров. Он передает своим ученикам опыт мастеров русской и западной живописи, он умеет увлекательно говорить и о непревзойденных шедеврах Ребина, Сурикова и Серова, и о пленительной незавершенности веласкезовских портретов, «сохранивших их свежесть до наших дней», и об изысканной непринужденности акварелей Ватто, и о монументальной живописи Васнецова.

#### IV

Зинаида Михайловна Ковалевская твердо решила следовать традициям реалистической школы, господствовавшей в Казанском художественном институте. Гоген, Матисс и Пикассо были пройденным путем, с которого было собрано самое лучшее, что он в состоянии был предоставить. Как напоминание о творческом детстве художника над письменным столом Ковалевской висит небольшая вещь Гогена. Дальше Запад воспринимался критически.

В 1927 году Казанский художественный институт был окончен и Ковалевская вошла, по приглашению организаторов, в Татарский филиал Ахра. С этого времени она принимает участие во всех выставках Татахра, бывших в Казани и в Москве. Ряд ее работ этого периода был приобретен Казанским музеем и Домом культуры. В 1930 году Ковалевская была приглашена в Самарканд. Своеобразие ее самаркандских занятий наложило несомненную печать на все ее дальнейшее творчество. Работа Ковалевской была разъездная — по собиранию и изучению народных узбекских орнаментов и руководству работой узбечек-вышивальщиц. Этнографические сведения, приобретенные Ковалевской, сообщают ее полотнам тот особенный оттенок насыщенности, завершенности в деталях, который выделяет их из ряда работ других живописцев. Однако увлечение деталями, любование этнографическими черточками порой становится в произведениях Ковалевской чрезмерным. Собираание материалов нарушало возможность регулярной творче-



своей работы живописца и только с 1932 года Ковалевская начала систематически работать, все время принимая участие в выставках, конкурсах и просмотрах. Включившись в работу Самаркандского отделения Союза советских художников, Ковалевская иногда получала предложения персонально участвовать в выставках Москвы и Ташкента; картины ее охотно приобретаются музеями страны, фондами Союза художников, дирекциями выставок. Ковалевская представлена в очень многих советских музеях.

В 1943 году, во время пребывания в Самарканде Всесоюзной Академии художеств, Ковалевская экстерном представила работы на экзаменационную сессию.

Специальным художественным советом работы ее были приняты с отличной оценкой.

... Она соскочила в тот момент, когда сверкающие на солнце колеса машины еще продолжали крутиться и переднее из них повисло в воздухе, приподнятое ее сильной рукой. На высоком смуглом лбу, кажется, легли капельки пота, у руля букет пестрых цветов. Она очень смугла — эта узбекская девочка, а полосатая, лиловая с черным майка и белые трусики подчеркивают совсем особенный, прогретый солнцем, золотистый тон кожи. Рядом с нею у финиша стоит, очевидно, мать ее, держащая подмышкой снятую шаранджу. Рядом с матерью сестренка в розовом цветистом платье, с восхищением встречающая победительницу гонок. Вокруг — ликующие лица толпы. Прямо на зрителя несется стайка велосипедистов, формирующих фон картины. Таков сюжет большого полотна „Велосипедистка“ кисти Ковалевской, принадлежащего Ташкентскому музею искусств. Насыщенность цвета, масса солнца и воздуха, прекрасно отработанная перспективная часть картины и обилие типажей делают „Велосипедистку“ одним из наиболее популярных произведений Ковалевской.

Второй большой работой этого же типа следует считать картину „В ложе театра“. Она любопытна как со стороны содержания, так с этнографической точки зрения. Несколько женщин-узбечек сидит в ложе театра. Каждая из них — в меру своей просвещенности и культурности — реагирует на происходящее на сцене. А на сцене, невидимой, идет, по замыслу Ковалевской, балет „Лебединое озеро“. Любопытство, стыдливость и недоумение запечатлены на лицах зрительниц. Интересны тщательно отделанные костюмы и их аксессуары, передающие уровень культуры и характер каждой из женщин. Того же типа большая картина Ковалевской „Первое Мая в кишлаке“ — очень живописная, с множеством детских фигур, очень тепло написанная; огромная по объему картина „Октябрины в колхозе“ несколько слабее по рисунку и колориту, нежели все предыдущие, но также превосходно задумана, полна настроения и динамики. К этой же группе следует отнести пеструю по колориту вещь „Подписка на заем“. Последняя картина Ковалевской, как бы замыкающая этот цикл ее довоенных произ-

ведений, — „Выборы в Верховный Совет Республики“, выставленная этой зимой Самаркандским фондом Союза художников. „Выборы в Верховный Совет“ — очень большое полотно, написанное в широкой манере и с тою особенной легкостью, которая является только у художников, постоянно ставящих перед собою задачи монументальности и законченности. Голосует женщина-узбечка. Рядом с нею другие избиратели, старики, дети. Но она, видимо, поглощена серьезностью всего с нею лично происходящего, и выражение сосредоточенности не сходит с ее лица. Оригинальное убранство избирательного участка, пестрота костюмов избирателей, наконец, эмоциональная напряженность всех персонажей, начиная от центрального действующего лица до малыша, стоящего спиной к зрителю (с пучком трогательных крашенных перьев филина на тибетейке и множеством ладанок на спине курточки), все сделано с огромной силой и выразительностью. Нельзя не отметить, однако, ограниченность тем художника: дети и женщины, с небольшими вариациями в позах и положениях, тонущие в обилии тщательно выполненных, скрупулезнейшим образом написанных вещей. Немного неба, немного зелени, совсем нет пейзажа, натюрморта. Специфика сюжета определяет и палитру художника. Всюду преобладание красной гаммы во всем многообразии ее оттенков. Красные пятна идут, как лейтмотив современности, в контраст с черными чачванами. Период этот в творчестве Ковалевской отмечен эффектностью и колоритной декоративностью живописи.

Война изменила направление мыслей и чувств художника. „Узко-узбекская тема как-то перестала меня волновать“, — говорит Ковалевская. Хотелось откликнуться на события, волновавшие всех людей страны, без различия национальностей, без учета этнографических особенностей их. Первым, вполне ощутившимся отголоском войны было всеобщее военное обучение. И в результате у Ковалевской является идея написания картины „Значкисты“, купленной Ташкентским музеем искусств и экспонируемой сейчас на выставке в Москве.

Призыв. Лучшая молодежь страны идет на защиту Родины. И вот — новый цикл картин: „Проводы“, с великолепным психологическим портретом матери, грустящей у оставленного отъезжающими парадного стола. Картина „Возвращайся с победой“ — девушки гордятся будущими героями, в мужестве которых они уверены. Работа эта экспонируется в Москве, на выставке Отечественной войны. Третье полотно — „В новой семье“ изображает заботу наших женщин о детях, потерявших во время войны родителей: в большом белом тазу, под тенью виноградной беседки, женщина-узбечка моет ножки белокурой русской девочке. Вещь напоса солнцем и какой-то тихой радостью.

Пульс войны был все более и более напряженным. Война чувствовалась все непосредственнее, дыхание ее становилось все ближе. Стали поступать эшелоны с ранеными.

Население остро реагировало на это событие. Было совсем неважно, кто страдает — русский, грузин, узбек... У всех было одно желание: умерить боль, облегчить страдания. Организовывались посещения госпиталей студентами, школьниками. Дети несли больным наивную детскую ласку, непосредственную и простую, как и их подарки, как и их концерты. Это произвело на Ковалевскую очень сильное впечатление. Явилась идея написать „Шефы у выздоравливающих“. Яркий весенний день в палатке госпиталя. Букеты цветов, прелестные головы детей — все воплощает идею выздоровления, возвращения к жизни — светлой и радостной. Яркий свет врывается в комнату с освещенной солнцем террасы и с ним дети, как бы несущие этот свет. Вещь эту Ковалевская считает незаконченной и рассчитывает к этой своей теме еще вернуться.

Колорит произведения этого цикла значительно разнится от колорита первого периода. Гамма выбирается более сдержанная, появляются золотистые осенние пейзажи, формирующие фон произведения („Проводы“, „Портрет матери“). Коричневые оттенки стали употребляться мастером все чаще и чаще, и если раньше золотая охра ложилась рядом с бледно-зелеными мазками, — теперь она становится, благодаря багрянцу и сени, звучной и солнечной. Полотном „Шефы у выздоравливающих“ как бы начинается новое увлечение Ковалевской тем чудесным жемчужно-серым оттенком, который так разнообразно нюансирован у старых мастеров. В этой именно гамме и написано большинство картин Ковалевской послевоенного периода.

Зинаида Михайловна всегда с прискорбием отмечала, что мало занималась искусством портрета.

„Мир шире, чем переулки и изломанные дувалы,“ — говорит она.

Огромный, великолепно вкомпанованный в формат холста портрет художника Бенькова. Он написан несколько интимно, мягко и очень легко. Художник сидит в сером фланелевом халате за письменным столом. На столе разложены какие-то иллюстрации, журналы, в которых он, видимо, что-то рассматривает. Очень уютный, своеобразно написанный интерьер, немного жесткий по живописи натюрморт стола и выражение покоя, разлитого в размышляющем человеке, делают этот портрет очень удачным.

Интересен портрет девушки в черном берете. Прекрасна лепка шеи, груди, тщательно сделан лоб, оттеняемый пепельными волосами и каким-то невесомым бархатом берета и кофточки. Хорош портрет матери художника. Она сидит в кресле, слегка наклонившись вперед. Усталые руки лежат на подлокотнях кресла, а глаза ясные, много видавшие и много выдавшие. Чарующее впечатление производит портрет рыжеволосой девочки — Тэты Орловой. Девочка сидит под деревом, на скамье. На коленях ее белого платья букет белых ромашек: один цветок она держит в руках.

К послевоенному циклу работ следует отнести и многочисленные пейзажные вещи Ковалевской. Множество этюдов, интерьеров и экстерьеров самаркандских мечетей, этюды двориков и улиц, где интенсивный солнечный свет и тень от виноградных беседок

ставят перед живописцем интересную задачу контраста. Дворик соборной мечети Тимура, засаженный персиковыми деревьями, непередаваемо хорош в период их цветения. Розовые кучи цветов, как закатные облака, прикрывают чудесные колонны с остатками пестрых майолик и позолоченных арабесок. Все это подается Ковалевской на апрельском небе в период пасмурных дней нашей капризной весны. Живопись этого периода творчества Ковалевской становится более индивидуальной, более эмоциональной и лиричной, чем раньше.

\* \* \*

Советский Восток хочет знать своих художников и гордится ими по праву. Незадолго до войны было решено открыть в г. Самарканде картинную галерею — стационарный, систематически действующий павильон, в котором были бы собраны наиболее интересные работы художников, как тех, что постоянно живут в Самарканде, так и тех, что охотно посещают этот город.

Самаркандское отделение Союза советских художников деятельно принялось за реализацию своего решения, покупая все лучшее, что сходило с мольбертов за эти годы. Война помешала открытию галереи, но не исключила возможности собрания картин. И вот в феврале этого года, в небольшом павильоне Сиабского района Самарканда открылась выставка накопленного фонда.

Ряд художников представлен здесь очень полно, во всем разнообразии тематики; в отдельных случаях даже является возможным проследить эволюцию их творчества. К числу таких следует отнести Бенькова, ушедшего от эпических спокойных руин и этнографического портрета к политически заостренному сюжету современности. Ковалевскую, — вначале несколько буколическую в своих нежных сентиментальных вещах, а затем неожиданную по силе в монументальном полотне „Выборы“. Коровой, стремящуюся от эстетических, темных по колориту натюрмортов к искусству большого психологического портрета („Мастер ганчкор“, „Артистка Мартынова“). Прекрасное впечатление оставляют два этюда женской стилизованной фигуры работы Ахмарова, использующего технику средноазиатских миниатюристов XVI века. Неожидан по колориту огромный этюд Никитина к картине „Навои в Самарканде“. Гораздо лучше его пейзажи с далью — спокойные по тону и более завершенные в живописном отношении. Тематически интересны работы Таранова — „На Фархадстрое“, Рождественского — „На строительстве канала“, Ульянова — „Ремонт минарета“ — вещь очень любопытная по композиции. К сожалению, совсем неполно представлены работы таких интересных, от вещи к вещи растущих художников, как Редькин, Агбалъян, Кашина, Надеждина и др.

Особое место в выставке отведено работам художников, живших в Самарканде во время эвакуации. Здесь мы видим великолепные гравюры Фаворского („Караван“, „Верблюды“, „Регистан“); рисунки

пером и акварели Чернышева (совсем особенный у него Самаркандский), своеобразные блеклые по тону натюрморты Фалька и других лучших мастеров нашей страны.

Несомненно, выставка в ее настоящем виде не дает исчерпывающего представления о мастерах, избравших Самарканд предметом своих вдохновений, так как очень многие заслуживающие внимания художники совсем здесь не экспонированы. Блестящим пополнением выставки были бы имеющиеся в музее произведения Верещагина, Каразина, Дудина, современных художников — Моора, Герасимова, Фалька, Фаворского и молодых акварелистов — Джанко, Горощенко, Надеждиной.

## СОДЕРЖАНИЕ

## ЖУРНАЛА „ЗВЕЗДА ВОСТОКА“ ЗА 1947 ГОД

№ 1

Стр.

Светлана Сомова. Москва. У подножья горы Могол-Тау. Изыскатели. Стихи . . . . .	1
А. Какхар. „Два чинара“. Роман. Перевел с узбекского Н. Ивашев . . . . .	4
М. Шейхзаде. Узбекское море. Стихи. Перевел с узбекского В. Липко . . . . .	20
Содык Каландар. Мы на Урале. Повесть. Продолжение . . . . .	22
А. Ивачов. Колодец в пустыне. Стенная станция. Стихи . . . . .	44
Гафур Гулям. Женщина, соревнующаяся со своим мужем. Рассказ. Перевел с узбекского Н. Ивашев . . . . .	46
Ю. Пеговчи. Песнь о Динко. Рассказ . . . . .	51
Саид-Ахмад. Масган-биби. Рассказ. Перевел с узбекского Н. Ивашев . . . . .	56
Федор Кедров. Девушки приехали из города. Очерк . . . . .	59

## СТАТЬИ

Лиходзиевский. Узбекский исторический роман . . . . .	75
М. Салье. Очерки по истории узбекской литературы. Древнейшие памятники . . . . .	89

## ЗА РУБЕЖОМ

Зайнал. Заметки о революционной поэзии современного Ирана . . . . .	95
П. Синг. Народный писатель Индии . . . . .	105

№ 2—3

А. Какхар. „Два чинара“. Роман. Продолжение. Перевел с узбекского Н. Ивашев . . . . .	1
Гафур Гулям. Золотая медаль. Стихи. Перевел с узбекского В. Липко . . . . .	18
М. Шейхзаде. Мой голос. Стихи. Перевела с узбекского С. Сомова . . . . .	20
Содык Каландар. Мы на Урале. Повесть. Продолжение . . . . .	22
Светлана Сомова. Февраль. Стихи . . . . .	54
Ирина Гуро. Кармен. Рассказ . . . . .	55
А. Ивачов. Ущелье. В Аральском море. Стихи . . . . .	60
Сергей Волгин. Короткое знакомство. Рассказ . . . . .	62
Сергей Данилов. Встреча. Журавли. Стихи . . . . .	67
М. Быкаюров. Кузнец. Стихи . . . . .	69
Дмитрий Захаров. Два стихотворения . . . . .	71
Ал. Шмаков. Госги. Быль . . . . .	74
М. Киселев. В песках. Очерк . . . . .	81
В. Разумов. В Гиссарских горах. Очерк . . . . .	87

## СТАТЬИ

С. Лиходзиевский. Творчество Владимира Липко . . . . .	94
М. Салье. Очерки по истории узбекской литературы. Литература XII—XIII веков . . . . .	103

## БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Ульрих. Горький и национальные литературы . . . . .	110
С. Л. Поэты Кавказии . . . . .	117

## ЗА РУБЕЖОМ

Шротат Синг, Индийский народный театр : : : : : 121

### № 4

Содык Каландар. Мы на Урале. <i>Повесть. Продолжение</i> . . . . .	1
Кырк Кыз, Кара-калпакский эюс. <i>Отрывок. Перевела С. Сомова</i> . . . . .	15
Владимир Мильчаков. Рождение офицера. <i>Рассказ</i> . . . . .	27
Сергей Данилов. Каспий. <i>Стихи</i> . . . . .	38
Н. Чельников. Школа жизни . . . . .	41
Ирина Мэй, Дж. йхун, безумная река . . . . .	46
И. Ляховский. Хлонкороб Тилля Туранов. <i>Очерк</i> . . . . .	62
Рабиндранат Тагор. Обучение птицы. <i>Сказка</i> . . . . .	70
Неотвязное горе. <i>Рассказ</i> . . . . .	73

### СТАТЬИ

Д. Вифлеемский. Маяковский в борьбе за социалистическую поэзию . . . . .	76
Г. Давыдов. Первые итоги сезона . . . . .	82

### № 5

Государственный гимн Узбекской Советской Социалистической Республики . . . . .	1
А. Каххар. „Два чинара“. <i>Роман. Продолжение. Перевел с узбекского Н. Ивашев</i> . . . . .	5
Рамз Бабаджанов. Дж. Шарипов, А. Мухтаров, Мирмухсин, Янгин Мирза, Шукурулла, Комсомол. <i>Стихи. Перевела с узбекского С. Сомова</i> . . . . .	26
Содык Каландар. Мы на Урале. <i>Повесть. Продолжение</i> . . . . .	31
Михаил Быкадоров. Однополчанину. <i>Стихи</i> . . . . .	45
Тураб Тула. Весенние этюды. <i>Перевел с узбекского Н. Ивашев</i> . . . . .	46
Шукурулла. Два стихотворения. <i>Перевел с узбекского Мих. Быкадоров</i> . . . . .	61
Жирмухсин. Мальчику. <i>Стихи. Перевел с узбекского Мих. Быкадоров</i> . . . . .	62
Янгин Мирза. Замира. <i>Стихи. Перевел с узбекского Мих. Быкадоров</i> . . . . .	63
Ал. Шамаков. Молодые побеги. <i>Очерк</i> . . . . .	64

### СТАТЬИ

К. Новоселова. Хранилище сокровищ культуры . . . . .	68
И. Владимир в. Мастер аквзрели . . . . .	78
С. Лиходзиевский. Поэт-революционер . . . . .	81

### № 6

А. Каххар. „Два чинара“. <i>Роман. Продолжение. Перевел с узбекского Н. Ивашев</i> . . . . .	1
Андрей Иванов. На переправе. <i>Стихи</i> . . . . .	27
Содык Каландар. Мы на Урале. <i>Повесть. Окончание</i> . . . . .	28
Сергей Данилов. Моя родословная. <i>Стихи</i> . . . . .	37
И. Гуро. Сегодня в газетах пишут. <i>Рассказ</i> . . . . .	38
Владимир Бабонаков. Старушка. Письмо. Домой. <i>Стихи</i> . . . . .	45
Пенджабские сказки. <i>Перевели А. Кисан и Протап Синг</i> . . . . .	47
И. Ляховский. В Самарканде. <i>Очерк</i> . . . . .	52

## СТАТЬИ

Светлана Сомова. О поэзии, рожденной войной . . . . .	58
В. Захидов. „Хайрат-уль-Аб-бар“ . . . . .	69
М. Салье. Очерки по истории узбекской литературы. Предшественники Алишера Навои . . . . .	76
С. Лиходзиевский. Роман о горном колхозе . . . . .	84

### № 7

Николай Бирюков. Воды Нарына. <i>Роман</i> . . . . .	1
Миртемир. Яли-Яли. Скала. <i>Стихотворения</i> . Перевел с узбекского С. Липкин, Олег Кошевой. <i>Стихотворения</i> . Перевел с узбекского В. Мильчаков . . . . .	24
Андрей Иванов. Цирк на стройке. На бахче. <i>Стихотворения</i> . . . . .	28
Вл. Мильчик в. Родные. Мой путь короче. Подруге. Оптимистическое стихотворение. <i>Стихотворения</i> . . . . .	31
П. Алексеев. Ал. Шаков. На белых землях. <i>Очерк</i> . . . . .	34
Михаил Быкадоров. В „Долине вечных ветров“. <i>Очерк</i> . . . . .	44
Махтумкули-Фраги. Будущее Туркмени. Фетах. Изгнанник Нашествие. Двенадцать советов. <i>Стихотворения</i> . Перевел с туркменского А. Тарковский . . . . .	55

## СТАТЬИ

С. Лиходзиевский. Социальные повести Садриддина Айни . . . . .	61
Айбек. Социальные типы в произведениях Мукими . . . . .	72
П. Синг. О демократизме индийских литератур . . . . .	79

### № 8

Николай Бирюков. Воды Нарына. <i>Роман</i> . <i>Продолжение</i> . . . . .	1
Миртемир. Тойин Эрийитгов. Коконы. Мак. <i>Стихотворения</i> . Перевел с узбекского Вл. Липко . . . . .	28
Абдулла Каххир. „Два чинара“. <i>Роман</i> . <i>Продолжение</i> . Перевел с узбекского Н. Ивашев . . . . .	32
Андрей Иванов. Зыбь большой реки. <i>Поэма</i> . . . . .	45
Июма Гузо. Обреченность. Из манчжурской тетради . . . . .	62
Михаил Быкадоров. Друзья огня. <i>Очерк</i> . . . . .	64

## СТАТЬИ

М. Айбек. Узбекская литература на подъеме . . . . .	70
М. Салье. Очерки по истории узбекской литературы. Алишер Навои . . . . .	79
В. Хорол. „Песня жизни“ в театре им. Хамза . . . . .	93

### № 9

Гафур Гулям. Москва. <i>Стихи</i> . Перевела с узбекского Светлана Сомова . . . . .	1
Уйгун. Песня жизни <i>Пьеса</i> . Перевел с узбекского Н. Ивашев . . . . .	3
Владимир Луговской. Возвращение. Город огней. Комсомольское общество. <i>Стихи</i> . . . . .	39

## ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Максим Калининский. Москвич. Танцовщица. <i>Стихи</i> . . . . .	44
Лев Березин. Стихи о музыке . . . . .	47
Вячеслав Костыря. Амурские кони. Цветок на скале. <i>Стихи</i> . . . . .	48



Тураб Тула. Труд Гашишера. <i>Стихи. Перевел с узбекского М. Быкадоров</i> . . . . .	50
А. Канаев. Путь к победе. <i>Очерк</i> . . . . .	51

## СТАТЬИ

М. Шейхзаде. Низами Гаяджеви . . . . .	64
М. Салье. Очерки по истории узбекской литературы. Алишер Навои <i>Продолжение</i> . . . . .	74
С. Лиходзиевский. Дастан „Шасенем и Гариб“ . . . . .	91

### № 10

В. Луговской. Фархадстрой. <i>Поэма</i> . . . . .	1
Ата Каушугуз. Мяхри и Вепа. Главы из романа. <i>Перевела с туркменского Татьяна Озерская</i> . . . . .	7
Светлана Сомов. Фархадская радуга. <i>Стихи</i> . . . . .	31
Владимир Липко. Другу. <i>Стихи</i> . . . . .	36
П. Алексеев. Рождение моря . . . . .	38
Ал. Шамаков. Отец города. <i>Очерк</i> . . . . .	49
Мирмухсин. Бапи. <i>Очерк</i> . . . . .	53
Машинист экскаватора. <i>Очерк</i> . . . . .	56
Б. Шувалов. В. Попов. Верблюжья тропа . . . . .	60
М. Салье. Очерки по истории узбекской литературы. Алишер Навои. <i>(Окончание)</i> . . . . .	64
Новые книги . . . . .	77

### № 11

Уйгун. Поступь веков. Музыкальная драма. <i>Перевел с узбекского Н. Ивашев</i> . . . . .	1
Аскад Мухтар. Сталевар. <i>Поэма. Перевел с узбекского В. Мильчаков</i> . . . . .	35
Абдулла Каххар. „Два чинара“. Роман. <i>Продолжение. Перевел с узбекского Н. Ивашев</i> . . . . .	53
Тимул Фаттах. С. Мухамедов. Новая земля. Литературный сценарий . . . . .	81
Айдын. Певестка родила сына. <i>Перевел с узбекского Н. Ивашев</i> . . . . .	111
Ал. Шамаков. Хлопкоробы. <i>Очерк</i> . . . . .	116
Михаил Быкадоров. По закону фронта. <i>Очерк</i> . . . . .	121

## СТАТЬИ

С. Лиходзиевский. Русские поэты Узбекистана . . . . .	128
М. Верхацкий. Основные этапы развития узбекской советской драматургии . . . . .	146
<b>Е. Романовская</b> Узбекский оперный театр . . . . .	153

### № 12

А. Каххар. „Два чинара“. Роман. <i>Продолжение</i> . . . . .	1
Андрей Иванов. В Фергане. Джейтану. <i>Стихи</i> . . . . .	36
М. Швердтн. „Качающийся Камен“. <i>Рассказ</i> . . . . .	39
Сергей Данилов. Из иранских стихов . . . . .	55
Г. Гульшин. Ферганские новеллы . . . . .	58
Михаил Быкадоров. Фархадская весна . . . . .	66
А. Канаев. Повесник Великого Октября. <i>Очерк</i> . . . . .	68
К. Новоселова. Самарканд в живописи . . . . .	79

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. Каххар. „Два чинара“. Роман. Продолжение . . . . .	1
Андрей Иванов. В Фергане. Джейляу. Стихи . . . . .	36
М. Швердин. „Качающийся Камень“. Рассказ . . . . .	39
Сергей Данилов. Из иранских стихов . . . . .	56
Г. Гульшин. Ферганские повеллы . . . . .	58
Михаил Быкадоров. Фархадская весна . . . . .	66
А. Канаев. Ровесник Великого Октября. Очерк . . . . .	68
К. Новоселова. Самарканд в живописи . . . . .	79
Содержание журнала „Звезда Востока“ за 1947 год . . . . .	92

РЕДКОЛЛЕГИЯ: М. АЙБЕК, В. В. ЕРШОВ, С. А. ЛЕВИТИНА,  
В. А. ЛИПКО, С. А. МАЛЬТ, Т. САДЫКОВ, С. А. СОМОВА,  
М. И. ШЕВЕРДИН (о. в. редактор), М. ШЕЙХЗАДЭ.

Адрес редакции „Звезда Востока“: Ташкент, Пе, вомайская, д. № 20.  
Телефон 3-34-81

Подписано к печати 29/XI 1947 г. Печ. листов 6. Тираж 4000 экз.  
Цена 5 р. Зак. 1755 Р 0 762. Изд. № 908

Типография изд-ва „Пр. Вост.“ и „Кзыл Узб.“, г. Ташкент, ул. Дзержинского, 8



